Александра Львовна Толстая

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

Эпоха
Хроника
Образ

МОСКВА
«ПАТРИОТ»
1991



Александра Львовна Толстая

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

Александра Львовна Толстая

ББК 84.Р7
Т52

Редактор — *Т. А. Соколова*
Художник — *Б. А. Шляпугин*

Толстая А. Л.

Т52 Проблески во тьме. — М.: Патриот, 1991. — 118 с.— (ЭХО: Эпоха. Хроника. Образ).

3 р.

Первая книга новой издательской серии «ЭХО», посвященной трагическим судьбам русской интеллигенции в переломную для России послереволюционную пору.

Глазами младшей дочери великого русского писателя Л. Н. Толстого — А. Л. Толстой (1884—1979) воссозданы картины российской действительности 1917—1929 гг., важнейшие события в жизни самой Александры Львовны: борьба за спасение и сохранение для народа национальной святыни — музея-усадьбы «Ясная Поляна»; борьба за собственную жизнь — наперекор мукам, изведанным в застенках Лубянки, в концлагере; горький, вынужденный отъезд с родины в 1929-м...

Для массового читателя.

Т $\frac{4702010201-006}{072(02)-91}$ **без объявления** **ББК 84.Р7**

ISBN 5-7030-0524-8

Печатается по изданию: Александра Толстая. Дочь: Лондон, Онтарио, Канада, 1979 (главы из 2-й части).

ДОЧЬ

Перед рождением своей любимой, третьей дочери Саши, в 1884 году, Лев Николаевич Толстой решился уйти из дома и начать новую, чистую жизнь, но вернулся с тульского тракта. В ночь на 28 октября 1910 года Александра Львовна собрала отца в последнюю, смертную дорогу и затем оставалась с ним до самого конца в памятном для всех Астапове.

Александра Львовна Толстая (1884—1979) была и помощником-стенографисткой, и другом, и единомышленником своего великого отца. Отношения их не назовешь идиллическими: не только внешностью, но и характером она пошла в своего родителя. Но именно ей завещал он распоряжаться средствами от своих произведений, добавив: «Тяжело только тебе будет», на что она просто ответила: «Что же делать? Я смотрю на это, как на свой долг».

Долг этот был прежде всего духовной обязанностью перед памятью об отце. И дочь его выполнила сполна.

Не только тем, конечно, что издавала его книги, организовала «Кооперативное товарищество изучения и распространения произведений Л. Н. Толстого», а после октябрьского переворота, в самых трудных условиях, сумела сохранить «Ясную Поляну». Она сама подавала пример — «жить по-Божии».

Во время германской войны четырнадцатого года стала сестрой милосердия, выхаживала раненых и больных сыпняком, была отравлена германским ипритом, попав в зону газовой атаки, и получила три Георгиевских креста за мужество и верность милосердию. После захвата власти большевиками разрешила собираться у себя в московской квартире своим знакомым по Земскому союзу, которые были членами подпольной политической организации «Тактический центр» (с лозунгом «Единая Россия и твердая национальная власть»), разгромленной в начале 1920 года. И хотя в показаниях участников утверждалось, что Александра Львовна ничего не знала о содержании этих собраний, она была осуждена Верховным ревтрибуналом под председательством Н. Крыленко и — до амнистии в 1921 году — провела почти два года в концлагерях.

Психологически трудно поверить в то, что, угощая гостей чаем, Александра Львовна даже не подозревала, для чего только что выпущенный из Особого отдела ВЧК историк и журналист С. Мельгунов просил предоставить литераторам, бывшим офицерам, ученым ее квартиру. Но еще труднее вообразить, что, зная хорошо о целях собиравшихся, Александра Львовна могла бы отказать им в пристанище. Не таков был ее, толстовский, характер. Да и многое в судьбе России уже становилось ясно. Новая власть сразу же заявила о себе террором против инакомыслия, и в числе жертв этого террора очень скоро оказались последователи учения отца — толстовцы. Проповедь любви к ближнему плохо увязывалась со свирепым учением о классовой борьбе. Колонии толстовцев были закрыты, а многие из них отправились в концлагеря. Александре Львовне, строго следовавшей религиозно-нравственным заповедям отца, становилось все трудней. Только в 1929 году, получив разрешение Наркомпроса выехать в Японию для чтения лекций, она смогла вырваться из красной России, где гуляла новая чудовищная волна уже сталинских репрессий.

С 1931 года Александра Львовна жила в США, посвятив свою долгую жизнь идеям отца, то есть служению людям. Основанный ею Толстовский фонд (1939) развернул огромную благотворительную деятельность, помогая во всем мире русским беженцам. Но был лишен возможности распространить эту помощь на родину, над которой опустился железный занавес. Само имя Александры Львовны долгое время в России было под запретом.

Первая книжка Александры Львовны — «Уход Л. Н. Толстого» (1928) вышла у нас в стране. Однако ее писательский, литературный дар раскрылся только за рубежом. В парижском журнале «Современные записки» были напечатаны в 1931 году мемуарные очерки «Из воспоминаний» (ими широко воспользовался И. А. Бунин в своей замечательной книге «Освобождение Толстого»). Но главным трудом Александры Львовны по праву считаются ее двухтомное повествование «Отец» (1953), воссоздающее год за годом жизнь Л. Н. Толстого, и «Дочь» (1979), где она рассказывает о своем земном пути.

Пути, который начался и прошел под символами духовного освобождения отца.

Олег МИХАЙЛОВ

РЕВОЛЮЦИЯ

Надо мной склонилось толстое красное лицо со вздернутым носом. Лицо улыбалось, и это раздражало меня.

Болела рана. Я лежала в минском госпитале, мне только что делали операцию. К пиэмии прибавилась тропическая лихорадка, которую я подхватила, работая на Турецком фронте. В голове было мутно от очень высокой температуры.

Но болезнь не волновала меня. Революция? Что-то будет?

Чему сестра радуется? Сверкают белые ровные зубы, смеются маленькие, серенькие глазки, утопающие в складках полного лица. Почему ей так весело?

Мой любимый доктор, пожилой благообразный еврей, вошел в комнату, сел у кровати и взял мой пульс.

— Скажите, доктор, как дела?

— Хорошо, рана скоро заживет. Высокая температура от малярии.

— Я не об этом... Я о революции, что происходит? Есть ли какие-нибудь перемены?

— Да, Великий князь Михаил Александрович отрекся от престола.

— Боже мой!.. Значит... Пропала Россия...

— Да. Пропала Россия! — печально повторил доктор и вышел из комнаты.

Сестра продолжала глупо улыбаться.

*
* *

Первое время ничего не изменилось на фронте. Солдаты продолжали сидеть в окопах, вяло перестреливаясь с немцами. В ближайшем тылу топили землянки, варили пищу, резали дрова, несли дежурство. Правда, вместо «благородия» появилось совершенно бессмысленное и не менее буржуазное обращение солдат к офицерству: «господин подпоручик», «господин полковник»; кое-где само офицерство догадывалось снимать погоны, кое-где посрывали их солдаты. Так же скучали в бездействии санитарные отряды, офицерство ухаживало за сестрами.

Но все, и офицерство, и сестры, и врачи, и земгусары,— все делали вид, что не только изменилось правительство и вместо Николая II стала у власти группа интеллигентов, а что изменились они все. В течение нескольких дней не только солдаты, но и весь командный состав изменил государю. Монархистов не осталось среди офицерства. Легко и просто вдруг стали вежливы с солдатами, перешли на «вы», прибавляли к приказу «пожалуйста».

Я выписалась из госпиталя, когда рана не вполне еще зажила. Доктор назвал меня безумной, но отпустил. В самую распутицу, в марте, я приехала в отряд.

— Вас ждут санитары,— сказал начальник летучки,— когда вы можете пойти к ним?

Этого никогда не было. Но теперь все было по-иному, я вступила в исполнение своей роли.

— Хорошо, соберите команду! — сказала я.

— Здравствуйте, санитары!—поздоровалась я, входя.

— Здравия желаем,— ответили они,— господин... госпожа уполномоченный.

— Граждане! — сказала я.— За это короткое время Россия пережила великие события. Русский народ отряхнул с себя старое царское правительство...

Слова были как будто «самые настоящие», но было мучительно стыдно. Я продолжала и, когда не хватило слов, крикнула:

— Урра! Да здравствует свободная Россия!

— Урраа! — подхватили солдаты.

Меня окружили, хотели качать. Я в ужасе схватилась за больной бок. Начальник летучки спас, качали его.

*

* *

— Дозвольте спросить, госпожа уполномоченный, по какому случаю летучка перемещается?

— Приказ начальника дивизии.

— Почему же именно на это место в лощину?

— Мы с начальником летучки лучшего места не нашли.

— Дозвольте сказать. Не мешало бы отрядному комитету осмотреть местность, обсудить...

Коллективное начало вступало в свои права, надо было с ним считаться. Осматривали местность пять человек. Обсуждали, спорили. Лучшего места не нашли и, потеряв три дня, остановились наконец на той же лощине, которую мы выбрали с начальником летучки. Не успели расположиться, как немцы нас обстреляли.

Было еще темно. Я проснулась от знакомого звука. Забухали тяжелые орудия, один за другим просвистели тяжелые снаряды.

Встрепенулись люди, заговорили, загремели цепями лошади на коновязи, как всегда, завыл отрядный большой пес Рябчик.

Несколько снарядов шлепнулось в противоположный берег, взрывая фонтаном землю.

Как безумные, из палаток, где лежали больные и раненые, побежали санитары к блиндажу.

— Куда? Мерзавцы! Раненых бросать! — забыв о новой принятой на себя роли вежливости, орал начальник летучки.

Но людей точно подменили, не помогали ни окрики, ни увещания. С горы, из соседних воинских частей, в одном белье бежали в нашу лощину солдаты.

— Братцы! — орал во всё горло солдат.— Братцы! Спасайся кто может!

Рассветало. В желто-красном зареве над мутным туманом леса показалось темное пятно, окруженное мелкими точками. Постепенно увеличиваясь, оно плыло ближе и ближе. С шумом пролетел над нами «Илья Муромец», окруженный свитой фарманов.

Разинув рты, солдаты медленно поворачивали головы, следя за уплывающими аэропланами. Орудия смолкли. Стали расходиться. Было что-то бесконечно слабое и жалкое в белых, в одном белье, босых, согнутых фигурах, ползущих в гору.

*
*   *

— ... вашу мать!

Персонал повскакивал с мест, одна из сестер пронзительно взвизгнула.

— Сволочи!! Мать вашу!..

Тяжелый кулак с силой ударился о стол. Задребезжала посуда, стоявшая с краю чашка женщины-врача подскочила и со звоном упала на пол. И снова дернулся в разные стороны испуганный медицинский персонал.

Заведующий хозяйством подскочил с заискивающей улыбкой.

— Что с вами, товарищ? Успокойтесь!

— Сволочь! Посылаете в такую погоду! А сами в тепле чаёк попиваете!

Лицо серое, забрызганное глиной, такое же серое, как залепленная грязью шинель. Дрожат губы, дергается круглый подбородок, убегают глаза.

— Не надо так... Поговорим завтра!

Я положила руку на его корявый рукав, на минуту поймала голубые глаза. И вдруг он весь осел, сжался.

— Двуколка перевернулась. Замучился... Никак не вылезешь, лошади потащили, ногу прихватило. Разве так можно? — рассердился он опять.— Засветло надо больных отправлять!

Вышел, хлопнув дверью и оставив за собой лепешки грязи. Аккуратненькая сестра-хозяйка встала и собрала с полу осколки чашки.

— Мозговой аффект,— сказал врач,— он был контужен. Санитары говорили, что у него бывают иногда припадки. Один раз чуть товарища топором не зарубил.

— То ли еще будет,— сквозь зубы процедил заведующий,— если бы это животное знало, что его могут расстрелять за оскорбление начальства, поверьте мне, никаких бы аффектов не было! Дисциплины нет...

— Что бы там ни было, избавиться надо от этого человека,— сказала женщина-врач,— он опасен для больных, он опасен для нас...

— Ах, как я испугалась! Я думала, он нас всех перебьет! — И хорошенькая сестра с каштановыми волосами, спускавшимися колечками на лоб, покосилась на старшего врача, который за ней ухаживал.— Почему вы не остановили его, Николай Петрович?

— Человека, действующего под влиянием аффекта, ни в коем случае не следует раздражать... Давайте лучше сыграем в шахматы.

Было душно в комнате, душно от разговоров. Бушевал ветер, дождь порывами бил в окно. А где-то там, в темноте, в тесных солдатских бараках назревало большое, жуткое. Его глушили годами, и вот теперь оно вырывалось безобразными неумелыми порывами, вырывалось с невероятной, стихийной силой.

Савельев мог ударить, убить. Было страшно от этой мысли, но злобы, возмущения не было. Убил бы и не был бы виноват, а только жалок.

Я говорила с ним на другой день.

— На кой нам чёрт эта революция! Вместо царя Львовы * там или Керенские **. Все равно сидеть в окопах, во вшах, в грязи! — говорил он, захлебываясь, спеша, точно боялся, что не успеет высказать всё.— Вон ваш поляк распоряжается, в тепле чай и вино попивает... А чем мы хуже его? Я жену больше года не видал...

Условности, искусственность отношений между начальством и подчиненными исчезли. Он плакал, грязным кулаком размазывая слезы по лицу, как ребенок.

— Где же она, правда? Фельшар в перевязочном говорит: «Довольно с немцами воевали, вали, ребята, в тыл воевать с буржуями, у помещиков землю, у фабрикантов фабрики отбирать». А взводный наш: «Сволочь,— говорит,— вы все, трусы, родину немцу продаете. Долг солдата за Рассею до победного конца стоять». Где же она, правда?

---

* Львов, Георгий Евгеньевич (1861—1925). Пред. и мин. внутр. дел Врем. правительства.

** Керенский, Александр Федорович (1881—1970). Глава Врем. правительства.

ВЕСНА

(Эта глава была написана в тюрьме — Лубянка-2)

Зимой и ранней весной никто не ходил по тротуарам — было слишком скользко. Под водосточными трубами, когда на солнце оттаивали ледяные сосульки и под вечер вода замерзала,— был сплошной лед. В башмаках ноги разъезжались во все стороны. Было бы лучше в галошах с резиновыми подошвами, но они исчезли на рынке, как многое другое, и купить их было невозможно.

Люди шли по мостовой, таща за собой санки, или несли мешки, сумки, прозванные «авоськами» — авось что-нибудь раздобудут,— кусочек масла, конины, сухую воблу или селедку.

Особенно жалко было стариков. Почему-то я запомнила одну старушку. На ней было старое, протертое, черное барашковое пальто и такая же муфта — остатки прежнего величия. Она тащила маленькие санки, не замечая, как они раскатывались по льду, мотались во все стороны, подшибая прохожих.

Был март месяц. Я чувствовала себя так, как, вероятно, чувствует себя скотина, когда после долгой, холодной зимы истощился корм. Лохматые коровы исхудали, ослабели и с нетерпением ждут весны. Было ощущение противной пустоты в голове и желудке, внутри все дрожало от голода и слабости.

Небольшую краюшку хлеба, которая у меня оставалась до получки, надо было распределить на несколько дней.

— Как жалко, что мы не обрастаем шерстью, как животные. Я все время зябну,— говорила мне моя знакомая, княжна Мышецкая,— по крайней мере тепло было бы.

Их было две сестры, и они жили вдвоем в одной комнате у моих друзей. «Осколки старого режима», как говорил один мой приятель. Высокие, прямые, прекрасно говорящие по-французски, которым они пересыпали русскую речь. Последние, как они уверяли, в роду Мышецких. Эти старушки вызывали жалость своей полной беспомощностью. Чтобы как-то согреться, они днем и ночью жгли керосиновую печку. Печка коптила. Седые волосы старушек почернели, почернели лица, руки, покрытые копотью.

Всюду, куда ни пойдешь, темы разговоров были об арестах, о продовольствии, где что можно достать, о дровах, которые были так необходимы, чтобы не замерзнуть в нетопленых домах.

Тяжело было слушать разговоры об арестах, когда я как-то ранней весной в марте зашла в книгоиздательство «Задруга». Обыски, аресты каждую почти ночь. Сегодня арестовали одного, завтра другого, возможно, что послезавтра арестуют меня... Гораздо интереснее было то, что в «Задруге» выдавались членам правления дрова.

Сухие, березовые дрова были аккуратно сложены во дворе! Какая красота! Какое богатство! У меня глаза разгорелись.

Писатели, профессора, ученые, сотрудники «Задруги» уже разбирали дрова, укладывая их на санки. Спешили увозить дрова, пока еще оставался снег на мостовой.

Со мной были только маленькие санки. Восьмушку дров, которые мне полагались, я не могла поднять.

— Пожалуйста,— попросила я сторожа,— отложите мои дрова в сторону, я за ними приду.

— Куда я их сложу? Видите, весь двор завален?..

Делать было нечего. Я попросила нашу молодую машинистку из Толстовского Товарищества помочь. Мы взяли двое саней, погрузили дрова, увязали их и по-

везли. Мягкий, смешанный с навозом снег месился под полозьями. Местами полозья скрипели по оголенным булыжникам. Я тащила свои сани с трудом. Усиленно билось сердце, подкашивались ноги. Тошнило. Когда я вспоминала о нескольких лепешках на какаовом масле, которые надо было растянуть на несколько дней,— тошнота усиливалась.

Мы двигались медленно, то и дело останавливались, чтобы передохнуть. Так было жарко, что я расстегнула свою кожаную куртку. Пот валил с меня градом, застилая глаза.

— Будь она проклята, эта жизнь!

Сил не было. Хотелось сесть прямо в этот грязный снег и горько заплакать, как в детстве.

На Никитской улице, по которой мы поднимались, играли дети. Им было весело. Они кричали, смеялись, перебрасывались снежками. Маленький, толстенький, краснощекий мальчуган ручонками в зеленых варежках ухватился за мои санки.

— Пусти! — закричала я сердито.— Тяжело и без тебя!

Но он не отпускал веревки и, крепко ухватившись за нее, пошел рядом со мной. Остальные дети побежали за ним.

Маленькая девочка в грязном белом капоре подбежала к нам.

— Мы вам помозем! — И, повернувшись к другим детям, возмущенно закричала: — Ну, чего же вы стоите?

Дети с минуту колебались, а затем всей гурьбой бросились к санкам.

— Ну, давайте все вместе!

И вдруг санки покатились: дети толкали сзади, с боков, тянули за веревки. Веревка, несколько секунд назад резавшая мне плечи, ослабела. Пришлось ускорить шаг, я уже почти бежала.

— Стойте, стойте! — кричу.

На перекрестке санки подкатились к большой луже.

— Остоложней, остоложней! — кричала девочка в белом капоре. Щечки у нее разгорелись. Глаза сверкали из-под белого капора. Она чувствовала себя во главе всей этой детворы. Но дети ее уже не слышали. Они были слишком увлечены.

— Мы не лазбилаем,— кричали зеленые рукавички,— тяни!.. Раз!..

Веревка на моих плечах совсем ослабела, санки дернулись и ударились о край водомоины. Плеск — и весь наш драгоценный груз оказался в воде.

Дети окружили санки. На несколько минут наступило молчание.

— Вот тебе и раз! —воскликнула, разводя руками, совсем как взрослая, девочка в белом капоре.

— Чего стоите, только время тратите! — крикнул мальчик, который казался старше других.— Раз, два, три!

— Мишка! Чёрт! Ногу мне отдавил!

— Не беда! До свадьбы заживет!

Не успела я ухватиться за край санок, как послышался второй всплеск, и санки стали на место. Еще общее усилие, и мы вытащили санки из воды. Вторые санки перевезли через лужу с большой осторожностью.

— Дети! — сказала я.— Спасибо вам, идите теперь домой, а то заблудитесь.

— Вот еще что выдумали,— презрительно фыркнул белый капор, ухватив крошечными ручонками грубую веревку и зашагав рядом со мной,— что выдумали! Я одна каждый день в детский сад хожу!

— А я один в лавку хожу!

— А я к тетке, я знаю, где она живет!

— Мы вам дрова до места довезем,— сказал старший мальчик.

— И разгрузим,— добавил мальчик в зеленых рукавичках.

— Конечно, разгрузим,— поспешно подтвердил белый капор.

И они, играя, вывезли санки в гору до самых Никитинских Ворот и не хотели уходить домой, пока дрова не были разгружены и убраны в сарай. А кончив, они, сидя на дровах, с громадным аппетитом поедали мои лепешки на какаовом масле. Я смотрела на них, и давно неиспытанное чувство радости наполняло мою душу. Я была счастлива, я чувствовала весну.

ТЮРЬМА

В конце марта 1920 года я возвращалась в Москву из Ясной Поляны в скотском вагоне. Я простояла около суток в страшной давке. Ноги болели, плечи резало от тяжелого мешка с мукой, белье липло к грязному телу, и по мне ползали вши, горели глаза и хотелось спать. Я предвкушала ванну, сон, и казалось, сил хватит ровно настолько, чтобы втащить вещи на второй этаж.

Теперь часто приходилось испытывать это чувство. Думаешь: вот-вот упадешь, силы иссякли, но напрягаешь волю, еще немного, и оказывалось, что силы есть. Нет предела терпению — все можно вынести, ко всему привыкнуть!

На дверях квартиры была печать ВЧК.

Что это могло значить?

Я свалила вещи и пошла к соседям звонить по телефону: «Кремль! Секретаря ВЦИК! Говорит комиссар Ясной Поляны!»

Я знала секретаря ВЦИКа Енукидзе* лично и начала с возмущением говорить ему, что я только что

* Енукидзе, Авель Сафронович (1877—1937). Расстрелян.

приехала из Ясной Поляны, устала и прошу его распорядиться, чтобы ВЧК немедленно сделала у меня обыск и распечатала бы квартиру.

Политикой я не занималась, ничего запрещенного у меня не было, и я была уверена, что это ошибка.

— Подождите, сейчас наведу справки и позвоню!

Он вызвал меня минут через пятнадцать:

— Сотрудники ВЧК сейчас у вас будут.

— Да? Но почему же все-таки запечатана квартира? В чем дело?

— Не знаю. Говорят, что имеют на это серьезные основания.

Меня поразила сухость в тоне любезного грузина. Я села на чемодан у дверей квартиры и стала ждать.

Чекисты приехали минут через двадцать: двое в военной форме, а третий — тщедушный молодой человек, в бархатной куртке, с бледным лицом, томными глазами и каштановыми, вьющимися по плечам длинными волосами. Было что-то нездоровое, ненормальное в облике этого человека...

— Вы...

— С ними,— кивнул он головой на военных,— художник-футурист.

— И... чекист?

— Да, и сотрудник ЧК.

— Пожалуйста, делайте поскорей обыск,— сказала я, отпирая все шифоньерки, письменный стол, комоды, шкафы,— ищите!

Они искали долго, но ничего не нашли.

— Собирайте вещи!

— Зачем?

— Вы арестованы.

— Арестована?! За что? Ведь вы же ничего не нашли!

— Есть ордер на ваш арест.

— Не может быть! — воскликнула я.— За что меня арестовывать! Я комиссар Ясной Поляны! Я не принимала участия в политике! Это недоразумение!

— Потрудитесь собирать вещи!

— Ни за что! Это нелепость какая-то. Никуда я не поеду. Справьтесь! Это ошибка!

Чекисты заколебались и, оставив меня под присмотром художника-футуриста, пошли говорить с начальством по телефону.

— Вас приказано немедленно арестовать,— сказали они, вернувшись.

— Но у меня на руках казенные деньги, отчеты, документы. Я же должна их сдать, привести все в порядок. Дайте мне три часа, раньше я не поеду.

Снова чекисты ушли разговаривать с начальством.

— Делайте, что вам нужно, только скорее!

Мои друзья и племянница, пришедшие меня встретить, развели самовар. Художник-футурист с наслаждением уплетал мои яснополянские припасы: мед, белый хлеб, масло, варенье.

Прошло около двух часов. Я приняла ванну, надела чистое белье, собрала вещи, сдала бумаги и деньги племяннице, напилась чаю.

Было уже десять, когда меня привезли на Лубянку-2 и ввели в комендатуру. Мелькала передо мной громадная фигура рыжего коменданта Попова. Я сидела на стуле и клевала носом. В первом часу ночи допросили, и я узнала, за что арестована.

Больше года тому назад друзья просили меня предоставить им квартиру Толстовского Товарищества для совещаний, что я охотно сделала. Я знала, что совещания эти были политического характера, но не знала, что у меня на квартире собиралась головка Тактического Центра,

Я не принимала участия в совещаниях. Раза два ставила самовар и поила их чаем. Иногда меня вызывали по телефону и, когда я входила в комнату, все замолкали. Об этих собраниях я давно забыла, но теперь, узнав, за что арестована, поняла, что мое дело серьезно.

Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

— Товарищ! Дайте воды, пожалуйста,— попросила я надзирателя.

— Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений наступала реакция, и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила: в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось, вся камера полна крысами.

«Только бы на койку не влезли»,— подумала я, и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

— Что за шум, гражданка? В карцер захотели? — крикнул в волчок надзиратель.

— Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

— Не полагается! — он захлопнул волчок. Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела я сомкнуть глаз, как снова ожила камера. Крысы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть, потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесах», опять удар, «да святится...» И когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: «И остави нам долги наши...» Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра.

*
* *

Утром повели в уборную. Только начала мыться — стучат.

— Гражданка! Кончайте! Уступайте место другим!

Делать нечего. У меня был с собой эмалированный тазик. Наполнила его водой и решила окончить умывание в камере.

Полутьма, ни книг, ни бумаги, ни карандаша нет. Отняли. Делать нечего. За стеной скребутся крысы. Днем я их не боюсь, но с ужасом думаю о ночи.

— Собирайте вещи,— и на мой вопросительный взгляд,— переводят в общую.

В одной руке понесла вещи, в другой таз с водой, боясь расплескать.

Надзиратель отпер угловую камеру в конце коридора. За столом сидела компания женщин. Увидели меня с тазом — и рассмеялись.

— Вы — Толстая? — спросила меня одна из них, постарше, с маленькими острыми глазами и нервным, чуть дергающимся лицом.

— Да.

Странно, почему она знает?

— А мы вот карты делаем из папиросных коробок,— сказала она мне,— вот тут устраивайтесь,— и указала мне пустую койку у дверей.

Комната была длинная и неправильная, суживающаяся в конце. С двух сторон по окну с решетками и матовыми стеклами. Койки стояли почти вплотную по стенам. Слева у окна тяжелый ломберный стол, два стула, вот и все.

— Я доктор медицины, Петровская,— сказала мне пожилая женщина.

— По Петербургскому делу,— сейчас же добавила она,— Юденича ждали...

— Madame parle francais, n'est ce pas? * — обратилась ко мне соседка по койке. И по великолепному произношению, по тонкому гриму на лице и особому шику в одежде, свойственному только парижанкам и не утерянному даже здесь, я сразу определила ее национальность.

— Oh! Mademoiselle la princesse parle aussi **,— кивнула она на высокую девушку лет восемнадцати с тонким аристократическим лицом.

— Ее арестовали в связи с делом брата,— кивнула на княжну белокурая, красивая женщина лет под тридцать.

— А зачем вам таз с водой? — спросила девица с большими томными глазами.— Очень это смешно!

— Мыться. А крысы у вас есть?

— Есть, но немного.

Мне хотелось спать. И я стала стелить постель. Койка — три сбитые неотесанные доски. Между каждой тесиной три, четыре пальца. Жидко набитый стружками тюфяк провалился в щели, и тесины краями врезывались в тело. Я подложила под бок сумочку, под голову пальто, закрылась пледом и заснула, как убитая.

Проснулась я только на следующее утро.

— Будет вам курить, доктор! Всю камеру прокурили, дышать нечем! — ворчала белокурая, флегматичная девица, по профессии машинистка, лениво ворочаясь на кровати.— И что вы ходите взад и вперед, как маятник!

— Не сердитесь, голубушка! Сил нет! Места себе не найду!

* Вы говорите по-французски, не так ли?

** О! Княжна говорит тоже...

— Господи! И чего волноваться? Этим не поможешь. Ведь вот не волнуюсь же я.

— Вам-то чего волноваться? Ведь в деле же не участвовали?

Машинистка промолчала.

— Ах, да разве я за себя! У меня сын, дочь, муж! Моя жизнь кончена. Вы представьте себе только, можно ли быть спокойной, когда их всех могут расстрелять из-за меня, всех, всех!

— Да ведь вы говорите, что сына вашего помиловали...

— Боже мой! Да разве можно кому-нибудь верить! Сегодня помиловали, а завтра расстреляют,— и докторша хваталась дрожащими руками за книжечку, отрывала листочек папиросной бумаги, крутила папиросу и снова нервно закуривала.

— Знаете,— вступила француженка,— вы, когда следователь говорит, немножко с ним coquette, немножко руж, немножко blanc, я смеюсь, он смеюсь...

— А вы смеялись, помните, когда вас ночью с вещами потребовали?

— Oh! Mon Dieu *— ниет, не смеял, я плакайть, плакайть. Я думал, меня стрелять!

— Да, жуткое было время,— начала Петровская,— то и дело на расстрел выводили. Пришли за ней ночью, велят собирать вещи. С ней истерика — плачет, хохочет. Вдруг упала на колени: «Доктор,— кричит,— молитесь на моя грешная душа». Я с ней с ума было сошла. А утром привели.

— Куда же водили?

— На допрос.

---

* О Боже мой!

— Нарочно пугают,— сказала девица с томными глазами,— своего рода пытка. Запугивают, думают, что человек больше расскажет.

— Oh! Ma pauvre mère, mon pauvre Henri! Ils ne sauront jamais ce que j'ai souffert *.

— Жених у нее во Франции,— продолжала докторша,— а обвиняют ее в шпионстве. Сошлась с каким-то негодяем...

— Mais non, docteur! Меня принимайт за шпион, ce monsieur меня спасайт. Я его не любил, ce monsieur, oh, non! Henri, comprendra ca! ** Я пошел с ним только по благодарству.

— Не поймешь их. Слушаю их разговоры целый месяц. А кто за что арестован, ничего не могу понять,— и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнее.

— Ах, я вам все расскажу,— нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачным перегаром,— подходил Юденич. В Петербурге во главе организации стоял англичанин, красавец собой, смелый... Я была готова пожертвовать жизнью...

Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила, как заученный урок, как будто она много раз повторяла свою историю.

Хотелось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физического отвращения к женщине, к ее любви к англичанину.

— Пасынка приговорили к расстрелу, сына, может быть, помилуют. Дочь в тюрьме.

— И они участвовали в заговоре?

---

* О! Моя несчастная мать, мой несчастный Генрих! Они никогда не узнают, что я страдаю.

** Но нет, доктор!.. Этого господина, о нет! Генрих поймет это!

— Да, да, и я, я одна виновата... Боже мой, Божей мой...— докторша истерически рыдала.

Я не находила слов утешения, и мне было с ней неловко. А она все говорила, говорила...

По утрам я ввела гимнастику по Мюллеру. Открыв форточку, поскольку позволяли железные решетки, мы раздевались почти донага, становились в ряд и делали всевозможные движения руками, ногами и туловищем.

Я сказала, что гимнастика помогает сохранять молодость и красоту. Француженка, раскрашенная, в папильотках, старалась больше всех: «Un, deux, troix! Un, deux, troix!» *, —приговаривала она, махая руками. Слабые мускулы ее не привыкли к усилию. Каждый раз, когда надо было медленно опускаться на корточки, она падала навзничь и не могла встать. Поднимался такой смех, что вмешивался надзиратель.

— Тише, дьяволы, что у вас тут такое?!

Доктор Петровская в одной денной рубашке, с замотанной вокруг головы фальшивой косой, желтая, тощая, вызывала чувство брезгливой жалости. И никто не смеялся, когда она, как и француженка, садилась на пол, вместо того, чтобы подниматься с корточек...

Один раз кто-то обратил внимание на отопительные трубы, проходящие в соседнюю камеру. Я села на пол и стала расковыривать известку железной шпилькой. Щель была замазана плохо, и известка легко осыпалась.

— Станьте у двери, караульте надзирателя,— шепнула я товаркам.

Доктор Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный пост.

— Щепочкой, щепочкой,— шептала она,— от коробки отломайте.

---

* «Раз, два, три! Раз, два, три!»

И вдруг я услыхала с той стороны шорох, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувствовала, что ее вытягивают. Она вся ушла и через минуту снова показалась с привязанной к ней записочкой: «Кто у вас в камере? У нас сидят такие-то и такие-то». Записка была подписана пятью, один из них был знакомый, заседавший у меня в квартире.

Мы ответили. Завязалась переписка. Мне было важно узнать, как вести себя на допросах. «Скрывать что-либо бесполезно, ВЧК все известно»,— был ответ.

Наивно просовывая щепочку в соседнюю камеру, мы и не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована, что доктор Петровская — наседка, передающая из камеры следователям ЧК все наши разговоры. Недаром ее так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель — Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря Виноградскому; из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического Центра происходили у меня на квартире, и тотчас же донес об этом следователю.

ЛАТЫШКА

Каждое утро около восьми часов быстро открывалась дверь, на секунду показывалась высокая, костлявая фигура с красным лицом, кудельками на лбу, и около двери стукалось ведро с такой силой, что вода, налитая до половины, расплескивалась вокруг. Дверь с силой захлопывалась, а мы спорили о том, кому достанется мыть пол. Это было одно из самых больших развлечений.

Через полчаса дверь снова раскрывалась, опять показывалась молчаливая фигура, красная большая рука хватала ведро и снова исчезала.

Таким же резким движением она швыряла молча нам в камеру чайник с кипятком, обед, ужин. Если она и говорила с нами, то всегда отрывисто, грубо, не глядя на нас, точно считала для себя унизительным обращаться к нам.

Придет за ведром, а мы еще не кончили мыть пол.

— Ну! Скорее! — крикнет и сильно стукнет дверью.

Казалось, в ней ничего не было человеческого — деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения.

«Неужели эта машина может плакать, любить?» — думала я. И я смотрела на нее с ужасом, она возбуждала во мне страх, больший страх, чем самое заключение, тюремные решетки. Каждый раз, как она входила в камеру, я вздрагивала и сжималась. А у нее на лице самодовольство, сознание исполненного долга, она со всей тупостью своей натуры поняла, что здесь, в ЧК, от нее требуют одного — потери человеческого образа, превращения в машину, и она в совершенстве этого достигла.

Мы пробовали с ней заговорить, она не только не отвечала нам, но и бровью не вела, точно наши слова были обращены не к ней.

«Неужели можно так дрессировать людей? — думала я.— А, может быть, она сама по себе такая...»

Правда, что все служащие чека были замечательно выдрессированы. Но они иногда разговаривали с нами, отвечали на вопросы, пересмеивались между собой, ругались, наконец. И хоть и чувствовалась в них резкость и жестокость, но не было той холодности машины, которая была в латышке. Она казалась мне страшнее надзирателей, начальника тюрьмы, следователя...

Невольно мои мысли тянулись к ней, когда она входила, я не отрывала глаз, внимательно разглядывала ее плоское, грубое лицо с белыми бровями и ресницами, бесцветными, невидящими глазами.

— Здравствуйте, товарищ! — вдруг, неожиданно для самой себя, сказала я ей, когда она швырнула в камеру ведро.

Она удивленно вскинула на меня свои безжизненные белесые глаза и ничего не ответила.

С тех пор я упорно каждое утро с ней здоровалась, а она делала вид, что не слышит, и не отвечала. Один раз днем, когда она принесла обед, я предложила ей конфет, которые были в передаче.

— Нельзя! — отрезала она и резко захлопнула за собой дверь.

На следующий день, когда я, как всегда, поздоровалась с ней, она едва заметно кивнула мне головой.

— А все-таки не приучите! — дразнили меня мои товарки по камере.— Эти латышки ужасно бесчувственные!

Но я думала иначе. Я радовалась. Желание вызвать в латышке проявление человеческого приобрело для меня огромное значение. Казалось, все мои чувства, мысли, воля сосредоточились в этом желании. И чем труднее казалась задача, чем больше я затрачивала на нее сил, тем сильнее делалось желание.

— Здравствуйте! Ну, как погода сегодня? — обратилась я к ней, как к старой знакомой, с обычным приветом.

— Здравствуйте!

Это была уже настоящая победа, и я ликовала.

Когда в следующую передачу я получила яблоки, я выбрала одно получше и протянула ей.

— Возьмите, товарищ, я ведь просто...

Она поколебалась, взяла и сунула под фартук. Но лицо продолжало быть деревянным; она так же, как машина, входила, приносила, уносила, не глядя, не отвечая на вопросы. Иногда я отчаивалась. Казалось, что она вся насквозь деревянная и душа у нее деревянная.

23 апреля были мои именины. Двое надзирателей, улыбаясь, притащили в камеру огромную передачу от друзей. Было много-много цветов, так много, что мы обвили решетку цветами, и у нас был праздник в камере.

Когда вошла латышка, я протянула ей букет цветов.

Она удивленно пожала плечами.

— Возьмите, сегодня мой праздник!

Она молча взяла, а когда принесла обед, на груди у нее был заткнут мой букетик подснежников.

Это случилось совершенно неожиданно. Утром, проснувшись, я по обыкновению взглянула через щелку форточки на небо. И, увидав голубой клочок неба, вдруг почувствовала солнце, тепло, весну... и стало грустно. Когда вошла латышка, я, забыв про все свои опыты, спросила ее, как спросила бы всякого человека, который свободно может смотреть на солнце и небо:

— Хорошо сегодня на улице?

— Тепло, весна! — ответила она мягко.

В одиннадцать часов, в самое неурочное время, неожиданно раскрылась дверь, и, широко улыбаясь своим плоским лицом, в камере появилась латышка.

— Гражданка Толстая, это вам! — сказала она, конфузясь.

Ко мне на колени упала большая ветка цветущей черемухи.

СКРИПАЧ

Пасха — и мне особенно грустно. Все в камере получили передачи, кроме меня. Почему никто обо мне не вспомнил? Может быть, арестованы? Больны? Или просто забыли?

Я даже не знаю, почему мне так грустно. Пасха для меня обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь в тюрьме, хочется именно той, другой, далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой Хамовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться; чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи и пасхи и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать, нарядная, в светло-сером или белом шелковом платье. В настежь раскрытые окна из сада врывается чистый весенний воздух, пропитанный запахом земли, слышится непрерывный звон переливчатых колоколов. Грустно. Звона уже нет. Москва в ужасе замерла. Все запуганные, голодные, несчастные, а я сижу в тюрьме. Камера похожа на длинный мрачный гроб. На столе на газете лежат три красных, с растекшейся краской яйца и темный маленький кулич с бумажным пунцовым цветком. Лучше бы их не было, они еще больше напоминают о нищете...

Я бросилась на кровать, лицом к стене. Хотелось плакать. Было тихо. Должно быть, моим товаркам тоже было тоскливо. Они не болтали, как всегда.

И вдруг могучие звуки прорезали тишину. Все шесть женщин бросились к дверям и, приложив уши к щелке, стали слушать. Некоторые из нас упали на колени. Мы слушали молча, боясь пошевельнуться, боясь громким дыханием нарушить очарование.

Глубокие, неземные звуки прорезали тишину. Они проникали всюду, сквозь каменные, толстые стены, сквозь потолок, они прорывались наружу через крышу тюрьмы, тянулись к небу, утопали в бесконечном пространстве. Они были свободны, могучи, они одни царствовали надо всем.

Кто-то играл на скрипке траурный марш Шопена. Один раз, другой. Затем звуки замерли, снова наступила тишина.

Слезы были у нас на глазах. Мы не смотрели друг на друга, не говорили.

По-видимому, большой мастер играл траурный марш Шопена. Да. Но почему меня это так потрясло? Как будто звуки эти вырывались за пределы тюрьмы, за железные решетки и стены; ничто не могло удержать их полета в бесконечность... Бесконечность... Вот оно что... Вот о чем пела скрипка. Она пела о свободе, о могуществе, о красоте бессмертной души, не знающей преград, заключения, конца. Я плакала теперь от радости. Я была счастлива. Я знала, что я свободна...

Много позже я встретилась на свободе с машинисткой. Мы разговорились о тюрьме.

— А помните Пасху? — спросила она.— Скрипача?

— Еще бы. Я не могла этого забыть.

— Он большой артист, мне говорили о нем. И, знаете, ему позволили играть только один раз, это именно было тогда, когда мы его слышали. На следующий день его расстреляли.

ЛУБЯНКА № 2

Надзирательница-латышка сказала, что нас поведут в баню на Цветной бульвар. Я сообщила это на волю друзьям.

Нас повели четверо вооруженных красноармейцев и надзиратель. Важные преступники! Гнали по мостовой вниз по Кузнецкому, извозчики давали дорогу. Прохожие из интеллигентов смотрели с сочувствием, иные попроще — со злобой.

— Спекулянты! Сволочь! — некоторые, взглянув на раскрашенное лицо француженки и приняв нас за проституток, роняли еще более скверные слова.

Я не чувствовала стыда, унижения. Наоборот — нечто похожее на гордость. Разве сейчас тюрьма — удел преступников?

Несмотря на городскую пыль — хорошо дышалось. Мы не подозревали, что такая ранняя весна. На Цветном бульваре трава высокая и густая, листья на деревьях большие и темные, как бывает в начале лета. Жарко, но в тени хорошо и приятно идти по земле.

— Стойте, стойте! — вдруг услыхали мы бодрый голос.— Политические? — низенький приземистый человек на ходу соскочил с извозчика и бросился через улицу к нам.— Я сам только что из тюрьмы, тоже политический. Не унывайте, товарищи! Вот огурчиков вам свеженьких! — он протягивал нам пакет.

— Отойдите, товарищ! Нельзя разговаривать с арестантами.

— А огурчики, огурчики передать можно?

— Нельзя, проходите.

— А все-таки не унывайте, товарищи,— еще раз с силой крикнул маленький человек,— я сам только что из тюрьмы, знаю все...

— Спасибо на добром слове, спасибо! — кричали мы ему вслед.

Стало совсем весело, когда я увидела своих друзей; они сидели в самых естественных позах под деревом на траве и шили, точно они вышли подышать свежим воздухом из одного из домов на бульваре. Увидев нас,

встали и пошли по боковой дорожке. Может быть, я не сумела скрыть радость и волнение, а может быть, Петровская передала следователю об этом свидании, но только надзиратель сейчас же их заметил и стал отгонять.

— Отходите дальше, гражданки,— кричал он,— а то арестую...

Одна из женщин была Прасковья Евгеньевна Мельгунова, она надеялась увидать своего мужа.

Баня была похожа на военный лагерь. Кругом все оцеплено красноармейцами. Сновали взад и вперед мотоциклетки. Около входа распоряжался прямой и высокий, как жердь, наш рыжий комендант.

В бане было невыносимо душно, густой пеленой стоял пар, но горячей воды было вволю. Красные, распаренные, мы бодро шагали по бульвару обратно в тюрьму. По боковой дорожке сопровождали нас две женщины и приветливо мне улыбались.

*

* *

Вздрогнула тюрьма. Задрожали окна. Что это?

— Обстрел из тяжелых орудий... Боже мой, неужели бои, переворот?

Страшные удары не прекращались, сотрясались дома, звенели стекла, вылетая и разбиваясь о мостовую.

Мы бросились к щелке в трубе:

— Что это? Бой?

Ответили неопределенно: может быть, бои, а может быть, взрывы. Удары были равномерны и частые, один за другим. Хотелось верить, что они несут избавление. «Тра, та, та. Тра, та, та!» Дрожало здание, звенели разбитые стекла. «Освободят, откроют все тюрьмы. А вдруг не успеют освободить? Убьют чекисты?»

Уложили вещи и ждали.

Казалось, прошло много часов, взрывы стали тише, реже.

— Что это было? — спросили мы вечером у надзирателя.

— На Ходынке пороховые склады горели...

*

* *

А через несколько дней — новая тревога.

— Как будто гарью пахнет? — доктор Петровская оторвалась от пасьянса и выглянула в окно.— Ничего не видно.

Княжна вскочила на подоконник, на решетки. Окно было чуть-чуть приоткрыто настолько, насколько допускали решетки. Пригнувшись к правой стороне, можно было видеть часть двора и левое крыло тюрьмы.

— Я вижу дым! Пожар, может быть!

Одна за другой, мы лазили на решетки, стараясь понять, что происходит. С каждой минутой дым становился гуще и чернее. Горел третий этаж левого крыла. До нас доносились крики, топот бегущих по коридору ног.

— О, Боже мой! — простонала докторша.— Надо собирать вещи! Нас, наверное, возьмут, если загорится тюрьма,— и она стала нервно сдергивать с койки постель и запихивать ее в корзину.— Скорей! Скорей! За нами сейчас придут!

Дым становился гуще. В камере стало серо и душно.

— Я не хочу сгореть живой! Ma foi, non! * — кричала француженка, вытаскивая из-под койки чемодан и швыряя в него в полном беспорядке пудру, платья, косметику, грязное белье.

---

* Ей-Богу, не хочу!

— Зачем торопиться? Все равно они забудут про нас,— и красивая машинистка спокойно соскочила с решетки и не спеша стала укладываться.

— Нет, что вы говорите! Не могут они нас забыть!

— Где товарищи? Les camarades! — кричала француженка, бросаясь к дверям.— Sapristi! Allons donc! * — она стала с силой трясти дверь,—oh, Mon Dieu! Товарищ, товарищ! Послушай!

Никого не было. Из камер стучали.

— Закройте окно! Мы задохнемся! — крикнула докторша.

Слышны были сигналы пожарных команд, рев автомобилей, крики. Весь этот шум, суета росли, преувеличивались в глазах заключенных, принимая ужасающие размеры. Естественная потребность действия в минуту опасности была пресечена. Мы были заперты. То и дело вскакивали на решетки, сообщая друг другу то, что было видно: бегущие пожарные в золотых касках, красноармейцы, работа пожарных машин.

По-видимому, работали три команды. Дым стал реже. Часть пожарных уехала. Я заняла наблюдательный пост на окне и не слыхала, как красноармеец мне что-то кричал со двора. Он снова закричал. Очнувшись, я увидела направленное на меня дуло винтовки.

— Слезь с окна, сволочь! — орал он во все горло.— Застрелю!

Я соскочила и захлопнула окно.

*

* *

Проснулась ночью. Загремело в соседней камере, точно тело упало. Прибежал надзиратель, засуетились,

---

* Товарищи! ... Проклятие! Идемте же! ... О, Боже!

забегали, подымали тяжелое, выносили. Мы вскочили и, прислушиваясь, старались понять, что делается за дверью.

Я не знала тогда, что в соседней камере умер от разрыва сердца Герасимов, когда-то давно живший у нас в доме в качестве репетитора моих братьев, товарищ министра народного просвещения при Временном правительстве.

*

* *

Принесли хлеб, а кипятка не было.

— Что же кипяток? — спросила докторша.

— Водопровод испорчен.

В камерах заволновались, застучали в двери, заговорили более громкими, чем обыкновенно, голосами. Но протестовать не смели.

В уборную свели, а умыться не дали.

— Ну, как это хлеб всухомятку жевать,— волновалась машинистка, тыкая пальцем в сложенные двумя небольшими столбиками шесть порций сероватого с мякиной и овсом хлеба.

— Дадут еще, водопровод починят и кипяток принесут,— успокоительно заметила докторша. Она почему-то всегда все знала.

Но воды не дали, и в обед не было супа, а вместо него принесли шесть порций селедки.

— Вы бы хоть ведрами немного воды разнесли заключенным,— сказала я надзирателю.

Надзиратель фыркнул:

— Натаскаешься тут на вас...

— Ну и дьяволы,— возмущалась машинистка,— что делают. Все время не давали селедок, а сегодня, как нарочно, воды нет, так нате же вам...

— Я так любить селедка,— сказала француженка,— что буду кушайть.

Соблазн был велик. Мы все в ожидании кипятка наелись селедки. А воды все не было. Невыносимо мучила жажда, во рту пересохло.

Часа в три, в обычное время, пришел надзиратель.

— В уборную!

Кто не знает тюремной жизни, и представить себе не может, какое громадное значение имеют эти слова для заключенных.

Надзиратели водили в уборную три раза в день. Это надо было сделать так, чтобы заключенные из разных камер не встретились. Уборных было мало, а камеры переполнены, поэтому водили редко и на очень короткое время. Утром на нас шестерых полагалось пять минут. Уборная была маленькая, с одной ванной, душем и краном. Днем же водили в уборную, где не было ни крана, ни ванны и нельзя было даже помыть рук. Поэтому я всегда утром наполняла свой таз водой и в этой воде мыла руки, а на другое утро выносила таз в уборную. У нас выработалась привычка, при которой можно было использовать каждую минуту нашего пребывания в ванной. В пять минут мы ухитрялись не только вымыться, но иногда даже кое-что выстирать. Я делала так: намыливалась и тотчас же пускала на себя душ, пока душ поливал меня, я стирала. Все это занимало около двух минут времени. Трое мылись под душем, трое под краном. Вода была ледяная.

В уборную водили в семь или восемь часов утра. Пили чай в девять. К сожалению, желудок не подчинялся тюремным правилам. Начинался стук в дверь.

— Товарищ, пустите в уборную!

— Нельзя, у вас есть параша.

— Неудобно, параша без крышки, пустите, пожалуйста.

— А в карцер хотите? Говорят, нельзя.

И надзиратель уходил в другой конец коридора. Бывали случаи, что люди корчились по три-четыре часа, оставались без обеда. Но я не помню, чтобы кто-либо из нашей камеры хоть раз воспользовался парашей.

Сушили белье в камере на веревочке, а разглаживали руками. Я никогда не думала, что можно так хорошо расправлять белье. Хитрость состояла в том, чтобы расправить его перед самым моментом высыхания.

Когда в этот день раздался крик надзирателя: «в уборную!», мы обрадовались, мелькнула надежда, что достанем где-нибудь воды.

— Чайник надо захватить,— сказала докторша.

Надзиратель выпустил нас из камеры. У дверей стояли два красноармейца с ружьями.

— Кто это? Куда вы нас ведете?

Но надзиратель молча шел впереди, красноармейцы по обеим сторонам, и никто не ответил.

«На допрос? На расстрел? Почему со стражей?» — мелькали в голове нелепые мысли.

Спустились до второй площадки. Тихо, едва передвигая ноги, по лестнице навстречу нам поднимался белый, как лунь, священник в серой поношенной рясе, подпоясанной ремнем. Впереди и сзади шли два красноармейца с винтовками. Мы столкнулись на тесной площадке и поневоле остановились, давая друг другу дорогу.

Страдание, смирение, глубокое понимание было в голубых старческих, устремленных на нас глазах. Он хотел сказать что-то, губы зашевелились, но слова замерли на устах, и он низко нам поклонился. И мы все шестеро низко в пояс поклонились ему. Сгорбившись, охраняемый винтовками, старец побрел наверх.

Нас привели на грязный двор внутренней тюрьмы, Лубянки-2. Я ждала очереди около дощатой уборной

и, подняв голову, смотрела на небо, его не видно было из нашей камеры.

— Аээх! — вздохнул охранявший нас молоденький красноармеец.— Живо жалко!

— Кого?

— Старый поп-то, чего он им сделал?

Часа в четыре меня позвали на допрос. Мучила жажда.

В мягком кожаном кресле сидел самодовольный, упитанный следователь Агранов *.

Это был уже мой второй допрос.

В первый раз Агранов достал папку бумаг и, указывая мне на нее, сказал:

— Я должен вас предупредить, гражданка Толстая, что ваши товарищи по процессу гораздо разумнее вас, они давно уже сообщили мне о вашем участии в деле. Видите, это показания Мельгунова **, он подробно описывает все дело, не щадя, разумеется, и вас...

— А ведь это старые приемы,— перебила я его,— эти самые приемы употреблялись охранным отделением при допросе революционеров.

Агранов передернулся.

— Ваше дело, я хотел облегчить участь вашу и ваших друзей.

— Вы давно в партии, товарищ Агранов? — спросила я.

— Это не относится к делу, а что?

— Вас преследовало царское правительство?

— Разумеется, но я не понимаю...

— А вы тогда выдавали своих близких для облегчения своей участи?

---

* Агранов, Яков Савлович (?—1938). Расстрелян во время чисток.

** Мельгунов, Сергей Петрович (1879—1956). Эмигрант с 1923 г.

Он позвонил.

— Отвести гражданку в камеру. Увидим, что вы скажете через полгодика...

В этот раз я также отказалась ему отвечать. Нахмурилась и молчала.

— Что это, гражданка Толстая, вы как будто утеряли свою прежнюю бодрость?

Меня взорвало.

— А вам известно, что в тюрьме нет ни капли воды, что заключенных кормили селедкой?

— Вот как? Неужели?

Но я поняла, что он об этом знает.

— Ведь это же пытка, ведь это...

— Стакан чаю,— крикнул Агранов,— не угодно ли курить? — любезно придвинул он мне прекрасные египетские папиросы.

— Я не стану отвечать. Неужели нельзя послать воды хоть в ведрах заключенным? — Стоявший передо мною стакан чаю еще больше разжигал бессильную злобу.

— Не хотите отвечать? — любезная улыбка превратилась в насмешливую злую гримасу.— Я думаю, что если вы посидите у нас еще немного, то сделаетесь сговорчивее. Отвести гражданку в камеру,— крикнул он надзирателю.

Нам принесли кипяток только к вечеру.

Я просидела два месяца на Лубянке-2. После угрозы Агранова я не ждала скорого освобождения и удивилась, когда надзиратель пришел за мной.

— Гражданка Толстая! На свободу!

Перед тем как выйти из камеры, я по всей стене громадными буквами написала: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решетками!»

ПРОКУРОР

Меня выпустили до суда с другими второстепенными преступниками.

Странное было ощущение. Точно я долго плавала на корабле и вот наконец попала на сушу: поступь нетвердая, во всем существе нерешительность, трудно попасть в прежнюю колею повседневной жизни.

Предстоял суд, и на нем сосредоточилось все внимание. Все остальное: работа над рукописями, Ясная Поляна — отошло на задний план.

Далеко от центра, в Георгиевском переулке, помещалась канцелярия Верховного Трибунала. Должно быть, она была здесь потому, что напротив был особняк комиссара юстиции Крыленко *.

Здесь подсудимым разрешалось ознакомиться с делом, и мы узнали о доносах из камеры жалкой, изолгавшейся истерички Петровской, Виноградского, предавшего друзей детства, узнали о пространных, в подробности излагавших все дело «с исторической точки зрения» показаниях профессора Котляревского и других.

У меня не было желания разбираться во всей этой литературе. Быть может, придет время, когда русские историки разработают события того времени не для ЧК, как это сделал проф. Котляревский, а для широкой русской общественности.

В центре внимания были пятеро наиболее серьезно замешанных в деле. Им грозил расстрел. И это было то, чем интересовалось теперь уцелевшее московское общество: расстреляют или нет? Ужас заключался не только в том, что убивались друзья, знакомые, уважаемые, любимые многими молодые, полные жизни и энергии

---

* Крыленко, Николай Васильевич (1885—1938). Расстрелян.

люди. Ужас был еще и в том, что постепенно уничтожался целый класс, уничтожалась передовая русская интеллигенция. И эта угроза расстрела была угрозой по отношению ко всем нам.

Невольно вставал образ всеми любимого и уважаемого Николая Николаевича Щепкина, незадолго перед тем расстрелянного. Я знала его по Земскому Союзу и относилась к нему с глубоким уважением и симпатией. Когда распространилось известие, что его расстреляют, оно не дошло до сознания, я не поняла и долго не могла понять, поверить. И когда наконец дошло до сознания, померкло все вокруг, показалось, что нет больше радости на земле и духа Божия в человечестве и что жить дальше невозможно. Но острота первого впечатления прошла. Я стала думать о том, как спасти Николая Николаевича. Хлопотать было бесполезно. Выкрасть? Это было безумием, но и время было безумное. Разве в России разум человеческий не тащился теперь бессильно в хвосте?

Было неприятно и немного жутко, когда пришел ко мне на квартиру подозрительный человек в яркосиней поддевке и картузе, с лихо закрученными кверху светлыми усами, умными, хитрыми глазами, тяжелым золотым перстнем на указательном пальце левой руки и серьгой в левом ухе. Сначала осторожно, затем смелее, увлекаясь своим планом, я заговариваю с ним о возможности похищения Николая Николаевича из тюрьмы.

Человек в синей поддевке обнадеживал, у него большие «связи». Надо много денег для подкупа. Я не возражаю. Разве мы не найдем денег в Москве для спасения Николая Николаевича.

Но через несколько дней подозрительный тип пришел сказать, что он отказывается; по наведенным справкам, ничего сделать нельзя.

Николая Николаевича казнили. Первые дни я ждала ареста. Думала, что меня выдаст синяя поддевка, но он оказался честнее, чем я предполагала.

И вот теперь опять угроза смерти повисла над пятью всеми уважаемыми и любимыми людьми. Встречаясь, мы говорили только об этом. Было страшно глядеть в вопрошающие глаза близких: «Ну что? Как вы думаете? Помилуют или...»

Под усиленной охраной этих пятерых приводили знакомиться с делом в Георгиевском переулке. Никого не подпускали к ним близко, и, когда уводили, жены долго смотрели им вслед.

А через улицу, в большом, великолепном барском особняке, жил прокурор республики Крыленко. Мы видели, как небольшой коренастый человек с хищной челюстью похаживал по двору, хлопая себя хлыстиком по сапогам. Слышно было, как властным, резким голосом он отдавал приказания служащим и сзывал многочисленных охотничьих собак. Крыленко был страстным охотником.

СУД

Среди публики много знакомых лиц. На передних скамьях подсудимые. Их много, человек тридцать. Они всем известны: профессора, ученые, врачи, литераторы.

Кроваво-красное сукно на столе, за которым заседают судьи. С левой стороны защитники, казенные и частные. Частные — адвокаты с крупными общественными именами, некоторые — бывшие революционеры, теперь враги народа. Они производят жалкое впечатление. Особенно один из них. Когда говорит, жестикулирует, подносит руки к лицу, точно умоляет. Судьи грубо его обрывают. Ораторские способности, знание, логика — здесь не нужны.

Казенные защитники — мелкие, бездарные людишки — в силе сейчас. Они знают необходимые приемы, держатся запанибрата с судьями, играют первенствующую роль.

За отдельным столиком сидит справа прокурор Крыленко с большим, почти голым черепом и с сильно развитой, хищной челюстью. Он напоминает злобную собаку, из тех, что по улицам водят в намордниках. Чувствуется, что жажду крови в этом человеке утолить невозможно, он жаждет еще и еще, требует новых жертв, новых расстрелов. Стеклянный голос его проникает в самые отдаленные уголки залы, и от этого резкого, крикливого голоса мороз дерет по коже.

Такой суд — не просто суд, а испытание. Смерть витала над головами людей. Положение было жуткое. Не было смысла отрицать виновность. Кое-кто из участников, профессора Сергиевский, Котляревский, Устинов, подробно рассказали обо всем в своих показаниях. Прямое отрицание виновности было бы глупо, но и страшно было попасть в другую крайность: начать каяться и просить прощения.

Временами даже Крыленко не мог скрыть своего презрения, когда некоторые отвечали на его вопросы заискивающе-робко, с явным подлаживанием или предавали своих друзей.

Было очевидно, что этих не только оправдают, но, пожалуй, еще и повысят по службе.

Внимание мое было до такой степени сосредоточено на группе людей, которым грозил расстрел, что я совершенно забыла о том, что в числе других судили и меня. Я все еще была на свободе. Приходила в суд из дома, расхаживала среди публики, обменивалась впечатлениями со своими друзьями. Меня удивило, когда один из чекистов вдруг подошел ко мне и потребовал, чтобы я села на одну из первых скамей, вместе с под-

судимыми, охраняемыми стражей. А вечером после заседания суда всех нас, преступников второго разряда, отправили в тюрьму на Лубянку-2.

Так как мы не знали, в какой именно день нас заключат под стражу, вещей ни у кого не было, только у Николая Михайловича Кишкина оказался мешок за спиной.

Нас поместили в большую грязную камеру со множеством деревянных, без матрасов, нар. Все были взволнованы, возбуждены и, разбившись на небольшие группы, оживленно разговаривали.

Николай Михайлович, раскрыв свой мешок, достал чай, сахар, черные сухари, заварил чай и стал всех угощать.

— Что это значит, Николай Михайлович? — спросила я его.— Почему вы знали, что нас сегодня арестуют?

— Эх, Александра Львовна, ну что же тут удивительного. Вы сколько раз были арестованы?

— Три.

— Ну вот, видите. А я и счет потерял. Я уж который день этот мешок в суд за собой таскаю.

Стали пить чай. Принесли хлеба. В углу обрисовывалась скрючившаяся фигура представительного Виноградского. Никто не позвал его пить чай, никто не говорил с ним.

— Неудобно ведь это,— сказал Котляревский,— надо все-таки чаю предложить...

Все промолчали.

— Я предложу ему чаю.

Опять все промолчали. Профессор встал и пошел к Виноградскому.

Свет потух. Я вытянулась на голых досках, подложив под голову кулак, и не успела закрыть глаза, как

почувствовала жгучие укусы в тело. Доски кишели клопами. Справа и слева ворочались профессора.

— Чёрт знает, что такое! И думать нечего спать,— кряхтели ученые, ворочаясь с боку на бок, скрипя плохо сколоченными нарами.

Один только Николай Михайлович, постелив простыню, подушку с белоснежной наволочкой, посыпавшись персидским порошком, заснул, как ни в чем не бывало.

В конце концов заснула и я, под оханье и аханье профессоров.

Проснулись утром помятые, измученные, с зелеными лицами. Я с ужасом осмотрела свое белое платье; оно превратилось в грязную тряпку. Помывшись кое-как без мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились в Политехнический музей.

Теперь уже мы были арестантами, ходить по зале свободно нельзя было, и я только издали переглядывалась со своими друзьями.

Помилование или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все внимание, вытеснив остальные интересы. Суд казался нелепым представлением, вопросы защиты — бессмысленной, отжившей формальностью. Председатель суда грубо обрывает бывших знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робеют. К чему все это? Решение, несомненно, продиктовано сверху.

Вдруг все заволновались в зале, засуетились, задвигались, даже среди судей произошло какое-то едва заметное движение. Незаметно по зале рассыпалась толпа подозрительных штатских, в дверях и проходах показались остроконечные шапки чекистов. И не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенсне с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой,

оттопыренными, мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор. Говорил он о молодом ученом, о том, что такие люди, как этот ученый, нужны Республике, что он столкнулся с его работой и был поражен ее ценностью. Говорил недолго и, когда смолк, так же спокойно вышел, а в зале, как после всякого выдающегося из обычных рамок события — на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся в залу охрана, рассеялись подозрительного вида штатские, и суд пошел своим чередом.

Мне было непонятно, как непонятно сейчас, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, под руководством которого были расстреляны тысячи, почему ему пришла фантазия заступиться за молодого ученого? Но после выступления Военкома, Льва Троцкого, стало ясно, что надежда на спасение четырех увеличилась.

Мне суждено было вызвать смех в публике и разозлить прокурора.

— Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического Центра?

— Мое участие,— ответила я умышленно громко,— заключалось в том, что я ставила участникам Тактического Центра самовар...

— ...и поили их чаем? — закончил Крыленко.

— Да, поила их чаем.

— Только в этом и выражалось ваше участие?

— Да, только в этом.

Этот диалог послужил поводом для упоминания меня в сочиненной Хирьяковым шутливой поэме о Тактическом Центре:

Смиряйте свой гражданский жар
В стране, где смелую девицу
Сажают в тесную темницу
За то, что ставит самовар.

Пускай грозит мне сотня кар,
Не убоюсь я злой напасти,
Наперекор советской власти
Я свой поставлю самовар.

Приговорили четверых* к высшей мере наказания. Остальных приговорили на разные сроки, Виноградского и красноречивых профессоров скоро выпустили. Мне дали три года заключения в концентрационном лагере. Я не думала о наказании и была счастлива, что не попала в компанию людей, получивших свободу.

В КОНЦЕНТРАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ**

Нас вывели во двор тюрьмы. Меня и красивую, с голубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, парило. Чего-то ждали. Несколько групп, окруженные конвойными, выходили во двор. Это были заключенные, приговоренные в другие лагеря по одному с нами делу. Перебросились словами, простились.

Нас погнали двое конвойных, вооруженных с головы до ног,— меня и машинистку.

Тяжелый мешок давил плечи. Идти по мостовой больно, до кровавых мозолей сбили себе ноги. Духота становилась все более и более нестерпимой. А надо было идти на другой конец города, к Крутицким казармам.

— Товарищи,— обратилась к красноармейцам красивая машинистка,— разрешите идти по тротуару, ногам больно!

— Не полагается.

* ВЦИК, однако, ввиду «победы над поляками», заменил смертную казнь десятью годами тюремного заключения.

** Записано в лагере.

Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя «товарищи» и подгоняли нас. Дышать становилось все труднее и труднее. Закапал дождь, сначала нерешительно, редкими, крупными каплями; небо разрезала молния, загрохотал, отдаваясь эхом, гром, и вдруг полился частый, крупный дождь, разрежая воздух, омывая пыль с мостовых. По улице текли ручьи, бежали прохожие, торопясь уйти от дождя, стало оживленно и почти весело.

— Эй, постойте-ка вы! — обратился к нам красноармеец.— Вот здесь маленько обождем,— и он указал под ворота большого каменного дома.

Я достала портсигар, протянула его конвойным.

— Покурим!

Улыбнулись, и показалось, что сбежала с лица искусственная, злобная, точно по распоряжению начальства присвоенная, маска.

Я разулась, под водосточной трубой обмыла вспухшие ноги, и стало еще веселее. Дождь прошел. Несмело, сквозь уходящую, иссиня-черную тучу проглядывало солнце, блестели мостовые, тротуары, крыши домов.

— Эй, гражданки! Идите по плитувару, что ли! — крикнул красноармеец.— Ишь ноги-то как нажгли!

Теперь уже легче было идти босиком по гладким, непросохшим еще тротуарам.

— Надолго это вас? — спросил красноармеец.

— На три года.

— Э-э-э-эх! — вздохнул он сочувственно.— Пропала ваша молодость.

Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лет двадцати пяти. Мне тридцать восемь, три года просижу, сорок один,— много...

Заныло в груди. Лучше не думать...

Подошли наконец к высоким старинным стенам Новоспасского монастыря, превращенного теперь в тюрь-

му. У тяжелых деревянных ворот дежурили двое часовых.

— Получайте! — крикнули конвойные. — Привели двух.

Часовой лениво поднялся со скамеечки, загремел ключами, зарычал запор в громадном, как бывают на амбарах, замке; нас впустили, и снова медленно и плавно закрылись за нами ворота. Мы в заключении.

Кладбище. Старые, облезлые памятники, белые уютные стены низких монастырских домов, тенистые деревья с обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладкий запах тополя. Странно. Как будто я здесь была когда-то? Нет, место незнакомое, но ощущение торжественного покоя, уюта тоже, как бывает только в монастырях. Вспомнилось, как в далеком детстве я ездила с матерью к Троице-Сергию.

— Шкура подзаборная, мать твою...

Из-за угла, растрепанные, потные, с перекошенными злобой лицами, выскочили две женщины. Более пожилая, вцепившись в волосы молодой, сзади старалась прижать ей руки. Молодая, не переставая изрыгать отвратительные ругательства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всех сил и руками и зубами старалась отбиться.

С крыльца, чуть не сбив нас с ног, выскочил надзиратель.

— Разойдись, сволочь! — крикнул он, подбегая к женщинам и хватая старшую за ворот.

Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь.

Мы вошли в контору. Дрожали колени не то от усталости, не то под впечатлением только что виденного.

С ними, вот с «такими», придется сидеть мне три года!

Стриженая, с курчавыми черными волосами, красивая девушка, еврейка, что-то писала за столом. Женщина средних лет, в холщовой рубахе навыпуск, в посконной синей юбке и самодельных туфлях на босу ногу, встала из-за другого стола и с приветливой улыбкой подошла к нам.

— Пожалуйста, сюда,— сказала она,— мне нужно вас зарегистрировать. Ваша фамилия, возраст, прежнее звание? — задавала она обычные вопросы.— Ваша фамилия Толстая? — переспросила она.— Имя, отчество?

— Александра Львовна.

Что-то промелькнуло у нее в лице, не то удивление, не то радость.

Закурив папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вышла на крыльцо, и сейчас же лицо пожилой женщины преобразилось. Она схватила мою руку и крепко сжала ее.

— Дочь Льва Николаевича Толстого? Да? — поспешно спросила она меня.

— Да.

Мне было не до нее. Только что виденная мною сцена не выходила из головы.

— Большая часть арестованных уголовные? — спросила я ее.— Какой ужас!

— Голубушка, Александра Львовна, ничего, ничего, право, ничего! Везде жить можно, и здесь хорошо, не так ужасно, как кажется сперва. Пойдемте, я помогу вам отнести вещи в камеру.

Голос низкий, задушевный.

— Как ваша фамилия?

— Моя фамилия Каулбарс.

— Дочь бывшего губернатора?

— Да.

Я снова, совсем уже по-другому, взглянула на нее. А она, поймав мой удивленный взгляд, грустно и ласково улыбнулась.

Навстречу нам, неся перекинутое на левую руку белье, озабоченной, деловой походкой шла маленькая, стриженая женщина.

— Александра Федоровна! — обратилась к ней дочь губернатора.— У нас найдется местечко в камере? — и, оглянувшись по сторонам, она наклонилась и быстро прошептала: — Дочь Толстого, возьмите в нашу камеру, непременно!

Та улыбнулась и кивнула головой.

— Пойдемте!

Мы прошли по асфальтовой дорожке. С правой стороны тянулось каменное двухэтажное здание, с левой— кладбище.

— Сюда, наверх, по лестнице, направо в дверь.

Я толкнула дверь и очутилась в низкой, светлой квартирке. И опять пахнуло спокойствием монастыря от этих чистых, крошечных комнат, печей из старинного с синими ободками кафеля, белых стен, некрашеных, как у нас в деревне, полов. Высокая, со смуглым лицом старушка, в ситцевом, подвязанном под подбородком сереньком платочке и ситцевом же черном с белыми крапинками платье, встала с койки и поклонилась.

— Тетя Лиза! — сказала ей Александра Федоровна.— Это дочь Толстого, вы про него слыхали?

— Слыхала,— ответила она просто,— наши единоверцы очень даже уважают его. Вот где с дочкой его привел Господь увидеться! — И она снова поклонилась и села.

Лицо спокойное, благородное, светлая и радостная улыбка, во всем облике что-то важное, значительное.

«Это лицо не преступницы, а святой,— подумала я,— за что она может сидеть?»

— Вот сюда кладите вещи,— сказала мне Александра Федоровна, староста лагеря, указывая на пустую койку рядом с тетей Лизой.

Вдруг дверь из соседней комнаты распахнулась, и быстрыми, легкими шагами ко мне подошла прямая старая дама, с гладкой прической, в старомодном, затянутом платье, с признаками былой классической красоты.

— Позвольте с вами познакомиться. Я Елизавета Владимировна Корф.

— Баронесса Корф?

— Chut, plus de baronesses! C'est a cause de ca que je souffre! *— прошептала она.— Но вы, за что же вас могли посадить? — уже громко спросила она.— Ваш отец был известен всему миру своими крайними убеждениями.

— Обвинение в контрреволюции, а впрочем, я и сама не знаю, за что...

— Abominable! **— воскликнула она.

Вечером мы сидели вокруг стола в комнате старосты — семь женщин, не имеющих между собой ничего общего,— разных сословий, разных интересов, вкусов, развития. Пили чай из большого жестяного чайника. Тетя Лиза пила с блюдечка медленно и деловито; баронесса принесла из своей комнатки маленькую изящную чашечку и пила, отставив мизинчик; дочь губернатора налила кипятку в громадную эмалированную кружку и пила его без сахара, с корочкой отвратительного тюремного хлеба.

— Почему вы чай не пьете? — спросила я.

Староста только рукой махнула.

---

* Шшш! Без баронесс! От этого-то я страдаю!

** Как отвратительно!

— Уж от голода распухать стала, а все другим раздает,— сказала она, и в глазах ее засветилась ласка,— и масло и сахар — все.

— Голубушка, Александра Федоровна, не надо,— поморщилась дочь губернатора,— вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста...

В душе росло недоумение. Где я? Что это? Скит, обитель? Кто эти удивительные, кроткие и ласковые женщины?

Я легла спать. Толстая, нервная дама, другая моя соседка по камере, задавала мне бесконечные, глупые вопросы. Наконец мне это надоело, я отвернулась к стене и притворилась спящей. Но спать не могла.

По привычке, как это было все эти последние дни, я подумала о том, что приговорена в лагерь на три года. Но, к удивлению моему, мысль эта не дала мне того тоскливого ощущения почти физической боли, как прежде. Передо мной, заслоняя все остальное, стояло бледное, немного опухшее лицо, обрамленное светлыми, почти рыжими волосами, ласково улыбались серые добрые глаза. «Везде жить можно, и здесь хорошо...» «Да, может быть, это и правда»,— подумала я. В моей душе не было ни страха, ни чувства одиночества...

Среди ночи я проснулась. Где-то, казалось под самыми нашими окнами, стучали железом по камню, точно ломом пробивали каменную стену. Гулко раздавались удары среди тишины ночи, мешая спать.

В смежной комнате кто-то заворочался.

— Что? Что? — спросила я.

Никто не ответил, все спали. А стук продолжался. Стучали ломами, слышно было, как визжали железные лопаты о камни. Мне чудилось, что происходит что-то жуткое, нехорошее, оно лезло в душу, томило...

Наутро я спросила старосту, что это был за стук, точно ломали что-то и копали.

— И ломали, и копали — все было,— ответила она,— девчонки тут, все больше из проституток, могилы разрывают, ищут драгоценности. Надзиратели обязаны гонять, днем неудобно, ну, так они по ночам. Должно быть, надзиратели тоже какой-нибудь интерес имеют, вот и смотрят на это сквозь пальцы...

Говорит спокойно, не волнуясь, как о чем-то привычном.

— Но надо это как-нибудь прекратить, сказать коменданту...

Она насмешливо улыбнулась.

— Да, надо бы... А впрочем, не стоит, обозлятся уголовные...

— Разве находят что-нибудь?

— Как же, находят. Золотые кольца, браслеты, кресты. Богатое ведь кладбище, старинное.

Я вышла во двор. Почти все свободное от построек место занимало кладбище. Должно быть, прежде оно действительно было очень богатое, теперь оно представляло из себя страшный вид разрушения и грязи. Недалеко от входа в монастырь, слева, могила княжны Таракановой, дальше простой, каменный склеп первых Романовых. На мраморной черной плите, разложив деньги, две женщины играли в карты, тут же рядом развороченная могила — куски дерева, человеческие кости, перемешанные со свежей землей и камнями.

— Девчонки ночью разворочали,— просто сказала мне одна из женщин на мой вопросительный взгляд.

Здесь ко всему привыкли, ничем не удивишь.

— А грех? — сказала я, чтобы что-нибудь сказать.

— Какой грех? Им теперь этого ничего не нужно,— и она ткнула пальцем в кости,— а девчонки погуляют. Да сегодня, кажись, ничего и не нашли,— добавила она с деловитым сожалением.

Никто не возмущался, все были спокойны, безучастны. Почему же меня это так волнует? Расстроенное воображение, нервы?

На следующую ночь я опять не могла спать, снова, когда весь лагерь погрузился в сон,— стуки, удары лома и лопаты о камень. И так продолжалось несколько дней. Наконец стуки прекратились. Но началось другое, не менее жуткое.

Вечером, когда наступали сумерки, раздавались страшные, нечеловеческие крики. Казалось, это были вопли припадочных, безумных, потерявших всякую власть над собою, женщин. В исступлении они бились головами о стены, не слушая криков надзирателей, уговоров своих товарок.

Кокаинистки, с отравленными табаком и алкоголем организмами, почти все крайние истерички, «девчонки» не выдержали этого ежедневного ворошения человеческих скелетов и черепов, срывания колец с костей рук с присохшими на них остатками кожи. Мертвецы преследовали их, они видели их тени, слышали их упреки, их мучили галлюцинации. Ежедневно, как только смеркалось, они видели, как мутной тенью под окнами проплывала человеческая фигура. Она останавливалась у окна, принимала определенные формы монаха в серой рясе и медленно сквозь железные решетки вплывала в камеру.

Женщины бросались в разные стороны, падали на пол, закрывая лицо руками. Наступала общая истерика, острое помешательство, пронзительные визги перемешивались со стоном и жутким хохотом, от ужаса у меня шевелились волосы на голове, немели ноги.

Нигде нервы не расшатываются так, как в заключении. Сумасшествие молниеносной заразой перекинулось в другие камеры.

Таинственного монаха видели то тут, то там, во всех камерах. В существование его поверили не только уголовные, но и политические.

Монах этот посетил и нашу камеру.

Вечером мы все ушли в наш лагерный театр, где заключенные ставили какую-то пьесу. Дома осталась только толстая барыня и баронесса Корф.

Вернувшись, мы застали толстую даму в большом волнении.

— Знаете, знаете,— говорила она, захлебываясь,— что у нас было, вы и представить себе не можете. Когда вы ушли, я вошла в камеру старосты, и вдруг на постели у нее сидит...

— Монах?

— Вы почем знаете? Да, да, монах. Я решила, что он пришел к старосте по делу, и спросила его: «Что вам угодно?» И вдруг он поднял на меня свои голубые глаза и насмешливо улыбнулся. Мне стало очень неприятно, я ушла и захлопнула дверь, но не могла успокоиться, снова вошла. Он сидел в той же позе, и вдруг я поняла, что он не настоящий монах, что это привидение... Я опять захлопнула дверь и пошла за баронессой. Когда мы отворили дверь, его уже не было...

Прошло несколько дней. Было поздно, и мы собирались ложиться спать. Вдруг кто-то сильно хлопнул дверью.

— Кто это? Кто? — нервно вскрикнула толстая дама.

— Не знаю,— ответила староста,— наши, кажется, все дома, никто не выходил.

Действительно, все были налицо.

Я выскочила на лестницу, вниз, во двор,— никого не было.

— Монах, честное слово, монах,— испуганно шептала толстая дама.

— Нервы у вас шалят, сударыня, вот что,— заметила невозмутимая староста. Тетя Лиза вздохнула и перекрестилась.

КУЗЯ. КОМЕНДАНТ И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

У меня разболелся зуб. Я сходила в амбулаторию при лагере, помазали йодом десну, но зуб продолжал болеть. Пришлось просить коменданта отпустить к врачу.

— Да идите, пожалуй, только — охрана есть ли, не знаю.

— Кузя дома,— сказал помощник коменданта.

— Ну, нарядите Кузю.

Нас собралось человека четыре с больными зубами. Надо было идти довольно далеко — в Ивановский монастырь, также превращенный в лагерь, где имелся зубной врач для заключенных.

Ждали охрану.

— Ну идемте, что ли! — крикнула нам, выходя из конторы, красноармейка.— Да идите тише,— крикнула она, когда мы, выйдя за ворота и обрадовавшись простору, быстро зашагали по улице.

— И так тихо идем,— огрызнулась женщина в красном платочке из уголовных,— аль не поспеешь?

— Где ей поспеть, она в своей шинели запуталась,— заметила другая.— Кузя, смотри сапоги не потеряй!

Я оглянулась на Кузю. Какое это было несчастное создание! Маленькое худенькое личико утопало в громадной фуражке, хлястик шинели, тащившейся по земле, спускался вершка на два ниже, сапоги были настолько велики, что Кузя волоком тащила их за собой, тяжелая винтовка давила худенькие плечи, громадный наган, висевший у пояса, завершал обмундирование

этой девочки, которой на вид было не больше 16 лет.

— Кузя, а что, коли мы бежать вздумаем? — сказала я.

— Поймаю!

— Как же ты поймаешь? Нас четверо, бросимся в разные стороны, кого же ты ловить будешь?

— Одну поймаю, а за всех отвечать не буду, коли убегут. Да вы этого со мной не сделаете, зачем подводить меня будете...

— Эх ты, вояка! — засмеялась женщина в красном платочке.— Зачем тебе отвечать. Револьвер-то на что? Раз, раз, перестреляла всех, и дело с концом!

— Да револьвер-то не заряжен! — жалобно пропищала Кузя и вдруг, точно спохватившись, грозно закричала:

— Тише идите, говорят вам, сволочь!

*
* *

Кормили нас плохо. По утрам Александра Федоровна получала продукты на руки: полфунта полусырого тяжелого, с мякиной, хлеба на человека в день, сахар и масло. Чистыми маленькими ручками она аккуратно раскладывала кусочки газетной бумаги на столе и разрезала соленое, желтое, захватанное грязными пальцами масло на маленькие кусочки и чайной ложечкой рассыпала на равные кучки сахар, полторы ложки на человека.

К обеду давали суп, чаще всего из очистков мороженой картошки. И так как промыть мокрую, мягкую, иногда полугнилую картошку было трудно, суп был с землей, приходилось ждать, пока грязь осядет на дно чашки. На второе давали пшённую кашу без масла. К ужину ту же пшённую кашу или по одной вобле.

Воблу мы предварительно долго и сильно били о могильные плиты, пока из нее не вываливалась оранжевая икра или темные молоки и она не делалась мягкой.

Между заключенными шла постоянная мена. Меняли хлеб на папиросы, на сахар, на старую одежду.

— Эй, Пончик! Жоржик хлеб на папиросы меняет.

И вечно голодная девочка, откуда-то раздобывшая пачку папирос, мчалась стрелой в камеру к Жоржику за хлебом.

В нашей камере только армянка, арестованная за спекуляцию бриллиантами, и я получали передачу. Но иногда, может быть, раз в месяц, политические получали сахар, постное масло и папиросы из Красного Креста.

Согласно тюремной этике, установившейся среди политических, продукты, получаемые из дома, передавались в общий котел, только на табак и папиросы признавалось право личной собственности.

Когда приходила передача из Красного Креста, устраивался пир. Затапливали камин, пропитывали хлеб подсолнечным маслом и жарили на углях. Запивали сладким, внакладку, чаем. Было уютно в маленькой келье около старого камина из белого с синими ободочками кафеля. Не похоже, что в тюрьме.

Одна только дочь губернатора не принимала участия в нашем пиршестве.

— Пожалуйста, идите к нам жареное есть! — кричали ей.

— Благодарю вас, я сыта,— отвечала она.

А наутро Надя, или еще кто-нибудь из уголовных, выходила из ее комнаты с пакетом или бутылкой постного масла.

Кусочки пайкового масла она отдавала Дуне или баронессе.

— Изведете вы себя,— упрекала ее староста,— нельзя так.

— Не ем я его, Александра Федоровна. Обхожусь,— отвечала она, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Должно быть, я никогда не узнаю, как трудно было моим друзьям доставать все то, что они приносили мне в заключение. Передачи были громадные, я никогда не могла бы одна поглотить всего, что приносилось, но нас было 8—9 человек, и иногда на два последних дня еды не хватало.

Среди заключенных давно уже были разговоры о том, что львиная доля продуктов шла на администрацию лагеря.

Все возмущались втихомолку, но говорить громко об этом боялись.

— А что полагается коменданту и его помощникам? — спросила я как-то у старосты.

— Да ничего не полагается, у них свои пайки...

— Так почему же никто не протестует?

Староста только рукой махнула.

А на обед опять принесли суп из очистков и кашу без масла.

— Я пойду к коменданту,— сказала я,— это чёрт знает что такое. Нельзя же молча смотреть, как заключенные голодают.

— Напрасно вы это, Александра Львовна, ей-Богу напрасно.

Но остановить меня было трудно... Схватив котелок, я пошла в контору. Комендант в фуражке сидел за письменным столом и с видимым напряжением рассматривал какую-то бумагу.

— Товарищ комендант! Смотрите, чем нас кормят.

— Что-о-о-о?

— Неужели нам полагается вместо картошки картофельные очистки в суп? И каша без масла?

— Вы что, гражданка Толстая, бунтовать вздумали?

— Я хочу, чтобы заключенные получали то, что им полагается. Больше ничего.

Широкое веснушчатое лицо вдруг побагровело, громадный кулак поднялся в воздух и с силой ударился о стол.

— Молчать! Эй, кто там? Назначить гражданку Толстую дежурить в кухню на двадцать пятое и двадцать шестое декабря.

Я повернулась и вышла.

В день Рождества я встала в шесть часов и пошла в кухню. Было еще темно.

Дядя Миша — единственный монах, каким-то чудом удержавшийся в Новоспасском,— гремя ключами, пошел выдавать продукты. На кухне одна из кухарок стала делить на две половины масло, сахар и мясо.

— Что это вы делаете? Куда это?

— Коменданту и служащим.

— Не надо! — сказала я.

— То есть как это не надо!?

— Не надо резать. Все это пойдет на заключенных. Администрации ничего не полагается.

Кухарки ворчали, бранились, но я как цербер следила за продуктами, поступавшими в кухню, и настояла на своем. В первый день Рождества заключенные получили хороший обед.

Но комендант смотрел на меня волком. Заключенные качали головами.

— Не простит он вам этого. Не сможет теперь отомстить, потом сорвет.

Да я и сама чувствовала, что положение мое в лагере должно было измениться. Прежде мне разрешалось иногда ходить в город: в Наркомпрос за волшебным фонарем для лекций, к зубному врачу. Комендант ценил мою работу по организации тюремной школы и устрой-

ству лекций. В его отчетах, вероятно, немало писалось о культурно-просветительной работе Новоспасского лагеря.

Теперь я была на подозрении. Я боялась писать дневник, боялась, как делала это раньше, отправлять написанное в пустой посуде из-под передачи домой. Я стала искать место, где бы я могла хранить дневник в камере.

Один из кафелей с синими изразцами в лежанке расшатался. Я вынула его, положила листки и опять заделала.

— Что это вы все пишете? — спрашивала меня портниха Маня, сидевшая за воровство и недавно переведенная в нашу камеру.

— Вас описываю,— ответила я, смеясь.

Она ничего не сказала, но я чувствовала, что она заинтересовалась моим писанием. Мы боялись этой Мани, она была дружна с женой коменданта.

— Маня, что это? Какая красота! — воскликнула однажды армянка, когда Маня развернула узел с только что принесенной работой.

— Комендантской жене платье шью,— ответила Маня.

— Тоже сказала — жена!..— возмутилась одна из женщин.— Таких-то жен у него... счет потеряешь,— и она с жадным любопытством потянулась к кровати, на которой Маня раскладывала великолепный, тяжелый бархат густо-лилового цвета.

Через несколько дней Маня сдала лиловое платье и принесла другую материю, еще лучше: превосходный, плотный, белый, с золотыми разводами шелк.

Вечером в комнату старосты вошла армянка с кусочком материи в руках.

— Смотрите. Из архиерейских саккосов шьет. Ей-Богу,— взволнованно прошептала она.

Среди лоскутков, валявшихся на полу, она нашла золотой крест.

— Александра Федоровна,— спросила я старосту, когда мы остались с ней вдвоем,— вы знали, что комендант грабит монастырскую ризницу?

— Знала,— сказала она,— давно знала. Но что поделаешь? Все равно нынче, завтра разграбят. Да уж теперь и нет ничего. Знаете, какой крест спустил? Золотой, пять фунтов весу. А это уж так, остатки — архиерейская одежда осталась... Я, знаете, стараюсь об этих вещах не думать. Вот уже скоро два года, как я по тюрьмам мотаюсь. Сколько раз бывало: люди волнуются, так же, как вы, вступаются за заключенных, думают, можно войну с администрацией вести. Напрасно это. Какой он ни есть зверь, но мы уже знаем, как с ним ладить. Ну, а начнешь с ним войну, либо его уберут, либо нет. А что, если не уберут? Он озвереет так, что житья с ним не будет. Ну, а если сменят, может, еще худшего пришлют. И верьте мне, какой бы он ни был вор, мерзавец, коли он член партии, не простят они вам этого... Никогда.

В комнату вошел странный, очень маленький человечек. Мальчишка? Нет! Женщина! Стриженые, черные, вьющиеся волосы, блестящие, как маслины, глаза, мелкие черты лица, красная сатиновая навыпуск рубаха, кожаная распахнутая куртка, короткая черная юбка, высокие сапоги.

Русский костюм не гармонировал с типичным еврейским лицом. Она вошла в сопровождении коменданта, его помощника и девицы в европейском платье.

— Рабоче-крестьянская инспекция,— шепнула мне Александра Федоровна.

— Белье казенное? — спросила еврейка, по-видимому, главное лицо в комиссии.

— Свое,— ответила староста.

— Часто меняете? — обратилась она ко мне.

Я рассмеялась.

— И почему вы смеетесь? — спросила она сурово, сморщив маленькую мордочку.— Покажите-ка,— и она отвернула край одеяла на моей постели.

Я стояла, не двигаясь, и продолжала улыбаться... Решительным движением она стала подходить ко всем кроватям, откидывать одеяла и смотреть постельное белье.

— Чисто у вас,— сказала она.

— Политические,— пояснил комендант.

— Что же вы раньше не сказали? Ваша фамилия?— обратилась она ко мне.

— Толстая.

— А! Я потом зайду к вам.

Инспекция ушла в сопровождении следовавшей по пятам свиты, а я пошла в контору, где мне было поручено организовать перепись заключенных.

Мы еще не успели наладить работу, как в контору вошла комиссия. С тем же деловым, важным видом маленькое существо продолжало расспрашивать о порядках в лагере и вдруг величественно, отчего я опять чуть не расхохоталась, махнула крошечной ручкой по направлению к своей свите.

— Прошу вас, товарищи, выйти,— сказала она,— я желаю наедине побеседовать с заключенными.

Почтительно склонившись, комендант, а за ним помощники вышли из комнаты.

— Ну-с, товарищи,— сказала она, когда в конторе остались одни заключенные,— я,— и она ткнула себя в красную сатиновую грудь указательным пальцем,— представитель рабоче-крестьянской инспекции, с одной стороны, с другой, я — член женотдела. Товарищи! Наше рабоче-крестьянское правительство очень озабочено тем, чтобы граждане рабочие, крестьяне, вообще,

так сказать, трудящиеся, заблудившиеся еще, вероятно, под гнетом буржуазного правительства, просвещались бы в духе социализма. Товарищи! Вы все должны идти с нами в ногу. Все должны помогать делу советского строительства. Каждый из вас должен, выйдя на свободу, постараться стать в ряды пролетариата, борющегося за свободу трудящихся. Кто здесь в лагере занимается просвещением?

Молчание.

— Кто работает с неграмотными?

— Я.

— Товарищ Толстая?

— Да.

— А как вы ведете партийную работу?

— Никак.

— Почему?

— Не сочувствую.

— Вот как. Это интересно. Но мы с вами побеседуем после. А теперь, товарищи, я прошу вас просто рассказать, как вы здесь живете? Хорошо ли вас питают? Получаете ли вы казенную одежду, достаточно ли дров?

Заключенные молчали.

— Товарищи, я вас спрашиваю: никто не жалуется на питание? На плохое обращение начальства?

Зло меня взяло.

— К чему эти вопросы? — не выдержала я.— Неужели вы не понимаете, что заключенные молчат совсем не потому, что жаловаться не на что, а потому, что, скажи кто-нибудь слово, или в карцере заморозят, на работах замучают, или подведут под такую статью, что и в живых не останешься.

— Товарищи! — воскликнула она снова.— Товарищ Толстая ошибается. Я отвечаю за вас, я,— и маленький

указательный палец опять воткнулся в сатиновую рубаху,— говорите. Не бойтесь.

Заключенные молчали.

— Ну!..

— Как мы будем говорить, когда мы не знаем, что нам полагается,— сказала я,— дают нам суп из мороженых картофельных очисток, хлеба не хватает, одежду предлагают старую, грязную... А разве мы знаем, что нам полагается?

— Это правда? — обратилась инспекторша к заключенным.

— Чего там... конечно, правильно,— послышались голоса,— масла сполна не получаем, в карцер за каждый пустяк сажают... сахара тоже недовес.

— Так. Так. Что же вы молчали, товарищи? А? Несознательность. Да.

Ревизия кончилась, инспекторша уехала. Заключенные трепетали.

Несколько дней подряд приезжали какие-то люди, ходили на кухню, расспрашивали, что-то писали. Раза два появилась маленькая коммунистка в той же кожаной куртке, с кожаной фуражкой на голове. И каждый раз неизменно она заходила в нашу камеру.

— Товарищ Толстая! — сказала она мне однажды.— Хотите пойти в театр? Я скажу коменданту, чтобы он вас отпустил.

— Нет.

— Почему?

— Не пойду, и только.

Иногда она пробовала говорить со мной на политические темы. Говорила она заученные фразы о советском рае, о развивающемся сознании пролетариата, о грядущей мировой революции. Мне было скучно, большей частью я молчала. Она радовалась, когда я не сдерживалась и отвечала.

Я посоветовала Дуне подать коммунистке прошение об освобождении. Жалко было глядеть на это несчастное, безобидное, кроткое создание, томящееся неизвестно за что. Прошение написали, переписали, Дуня поставила крестик вместо подписи, кто-то за нее расписался, и стали ждать коммунистку.

Через несколько дней она пришла.

— За что арестована? — спросила она, пробежав прошение глазами.

— Да хиба ж я знаю? Арестовали за что-то.

— Ну, ладно, давай, товарищ Дуня, твое прошение. Посмотрим, что можно будет сделать.

— Спасибо, милая барышня.

— Я не барышня, а товарищ. Вы, товарищ Дуня, в школу ходите?

— Хожу.

— Ну, и прекрасно. Выйдете из школы грамотной сознательной гражданкой. Может быть, еще будете вместе с нами бороться за рабоче-крестьянскую власть, комиссаром будете...

Дуня смотрела на нее непонимающими наивными серыми глазами, но улыбалась, она была рада, что коммунистка взяла прошение.

— Такие у власти не бывают,— сказала я.

— Почему же это? — обратилась ко мне коммунистка, как всегда, жадная до споров.

— Честна слишком.

— То есть что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Таким, как Дуня, место теперь в тюрьмах, в лагерях. У власти товарищи, гвардейские солдаты, с отстреленными указательными пальцами, грабители...

— Продолжайте, пожалуйста.

— ...грабители русской исконной старины.

Я вышла в соседнюю комнату, прикрыла дверь и быстро из-под изразца вытащила крест.

— Вот они, ваши честные работники из рядов пролетариата! — сказала я, бросая на стол лоскутик с крестом.— Вы когда-нибудь видели архиерейские одежды? Вот из этого комендант шьет платья своим женам, ограбляя монастырскую ризницу... Грабит заключенных,. морит голодом, истязает...

Она слушала меня, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила.

— Дайте сюда.

Схватив лоскуток, она выбежала из комнаты.

Через некоторое время коменданта уволили. Я была спасена. Но староста была права: положение заключенных не улучшилось.

*
* *

— Вставайте, Александра Львовна!

— А? Куда? Зачем?

Я открыла глаза, в комнате толпились кожаные куртки.

— Без разговоров! В театр.

— Почему так поздно? Я не хочу в театр,— пробормотала я.

— А вас и не спрашивают, гражданка, хотите вы или нет. Приказано.

— Обыск,— шепнула мне Александра Федоровна.

— Обыск? Опять? Почему же в театр?

— Ничего не знаю! Велено всем заключенным идти в театр. Лагерь оцеплен стражей.

— Что с собой брать? Деньги как?

— С собой берите, здесь все равно пропадут.

— А разве и здесь будут обыскивать?

— А как же? Затем и в театр всех загоняют, чтобы здесь дочиста перерыть...

«Как быть с дневником? — думала я, торопливо одеваясь.— Сжечь? Нет, жалко. Авось пронесет».

Выходим во двор, ярко освещенный факелами. Под деревьями между могильными памятниками вырисовываются кучки чекистов в остроконечных шапках. Они рассыпаны по всему лагерю. Шумят мотоциклетки, автомобили. Со всех сторон небольшими группами спешат заключенные в театр. В странном оцепенении, в полусне, я иду по двору. Мне кажется, что я никогда прежде не видела этого места, этих высоких деревьев, бросающих причудливые, нереальные тени, каменных глыб. «Должно быть, так в аду»,— думала я.

Театр был также оцеплен стражей. Нас впустили внутрь. Нереальность исчезла. Здание было набито битком, арестованные все прибывали.

На эстраде новый комендант и двое чекистов — женщина и мужчина. Женщина улыбалась. «Как она может?» — подумала я. Со сна ли, с перепуга или просто от холода многие заключенные дрожали.

Люди на эстраде сидели за столом, пересмеивались, что-то писали. А заключенные ждали два, может быть, три часа. Наконец стали вызывать. До меня очередь дошла только к утру.

— Толстая.

Сквозь толпу я протискалась на эстраду. Несколько вопросов: за что осуждены? чем занимаетесь, что у вас с собой? деньги? дайте сюда.

Женщина быстрыми ловкими пальцами шарила по телу, щупала волосы, чулки, выворачивала карманы. Каждое ее движение вызывало дрожь отвращения, и надо было напрячь все силы, чтобы не отшвырнуть гадину.

У выхода из театра меня ждали товарищи по камере. Нас вывели во двор и повели в околоток, но не направо, где была больничка, а налево, в изоляционную для сифилитиков. Грязь, вместо постелей голые нары. Комната была полна. Женщины сидели. Уголовные ругались и сквернословили.

Только к девяти часам привели обратно в камеру. Вещи наши были разбросаны по полу, постели перевернуты. Я бросилась к печке, подняла изразец, дневник лежал на месте.

Днем я зашла в театр. Весь пол был усеян мелко изорванной бумагой. А деньги наши пропали.

— Дали бы мне. Я бы спрятала,— хвасталась Жоржик,— у меня все до копеечки целы.

— А как же это ты?

— А очень просто. На то, мадам, и профессия.

Несколько человек приехали из автотранспорта Комиссариата Народного Продовольствия. Политических вызвали в контору и записывали их профессии: делопроизводитель, счетовод, чертежник.

— Ваша профессия? — спросили у меня.

Вот тебе и раз. Мне никогда и в голову не приходило, что у меня нет профессии. Чем я в жизни занималась? Редактирование, сельское хозяйство, организационная работа, кооперативы... Все не годится.

— Говорите что-нибудь,— шепнула мне армянка,— на свободу ведь отпустят.

— Машинистка,— крикнула я.

Записали и уехали, а мы забыли о них, как забывали многие другие посещения. Но вдруг, дней через десять, нас снова вызвали в контору.

— Собирайте вещи!

Я опрометью бросилась в камеру. Собрала вещи, простилась с товарками. У них были смущенные лица.

Они были рады за меня, но я знала, что именно в эту минуту им было особенно грустно.

У ворот Новоспасского лагеря стоял большой зеленый грузовик. Симпатичный человек, усиленно старавшийся скрыть свое сочувствие к нам, приглашал садиться. Затарахтела машина. Нас подшвыривало, трясло, а мы глупо и радостно улыбались.

Нас привезли во двор, на углу Тверской и Газетного переулка, ввели в накуренную канцелярию. Мне дали истрепанную грязную машинку «ундервуд». Не успела я ее вычистить, как уже стали приносить бумаги: отношения, доклады, отчеты... Прежде я никогда ничего не переписывала, кроме сочинений отца. Канцелярские формы были мне незнакомы, учиться было не у кого. Одна из заключенных, назвавшаяся машинисткой, в ужасе прибежала ко мне, не зная, что делать. Ей также подвалили целую кучу бумаг, а она едва тюкала по клавишам одним пальцем. Пришлось помогать ей.

— Что вы делаете? — кричал на меня симпатичный человек, который оказался беспартийным инженером.— Ведь вы же даете на подпись безграмотное отношение.

— Да я же исправила орфографические ошибки.

— Но ведь по содержанию это никуда не годится. Вы старайтесь уловить смысл и пишите по-своему, а он подмахнет. Ведь он же двух слов связать не может.

Со временем я научилась это делать и, получив бумагу от директора-коммуниста, составляла ее по-своему. С отчетами было хуже, я изнемогала от бесконечных цифр, никак не могла печатать столбиками, как полагалось, путала итоги. Бумаги приносили и из других отделов. Чем быстрее я выполняла работу, тем больше мне подваливали бумаг. Теперь уже не трудились писать содержание, а просто кричали через комнату:

— Товарищ Толстая! В отдел снабжения выговор за задержку.

— Сейчас.

Я не могла понять, в чем дело. Другие машинистки работали до четырех часов, потом спокойно складывали работу и уходили. А я возвращалась домой каждый день около семи с мучительным сознанием, что не все переписала.

— Вы никогда не служили?

— Никогда.

— Оно и видно! Разве так можно. Дают бумагу, а вы отругивайтесь: и так много, вчерашняя работа осталась, подождите до завтра. А то им только повадку дай. Иной раз и бумажки-то не нужно, а он лезет.

В соседнем доме была огромная столовая Наркомпрода, где обедали служащие автотранспорта. Кормили нас по тогдашним временам хорошо. Денег за работу не платили, но давали паек: сахар, пшено, иногда мясо.

Отработав 8—9 часов в конторе, я шла домой, иногда совсем измученная работой, но счастливая сознанием, что иду «домой». Я видела друзей, родных. Один раз, забыв, что я на положении заключенной, пошла на Толстовский вечер. Выступал В. Ф. Булгаков. Как всегда, горячо и смело он говорил о моем отце, о насилиях большевиков, о смертных казнях и вдруг, совершенно неожиданно, упомянул, что здесь, в зале, присутствует арестованная и находящаяся сейчас на принудительных работах дочь Толстого.

Через несколько дней зеленый грузовик снова отвез меня в Новоспасский лагерь. Прокурор республики Крыленко, узнав, что меня командировали на принудительные работы и что я присутствовала на Толстовском вечере, рассердился, велел меня немедленно водворить обратно в лагерь и держать там под «строжайшим надзором».

Я надеялась, что в лагерь мне возвращаться не придется, и новое заключение показалось мне особенно тяжким.

Многих в лагере уже не было, появились новые лица. Общее внимание теперь привлекала знаменитая мошенница, баронесса фон Штейн, по прозвищу «Сонька золотая ручка». В лагере она тотчас же прославилась как замечательная гадальщица.

Только Жоржик отнеслась к ней с полным презрением.

— Сволочь лягавая! У Ильменевой браслет слизнула. Последнее дело у своих воровать.

Даже политические ходили гадать.

— Не может быть, чтобы она была воровка,— говорили они,— такая важная дама, прекрасно одета, говорит на всех языках. А как гадает. Пойдите, Александра Львовна! Советуем вам...

Как-то вечером к нам в камеру вошла высокая дама в лиловом шелковом платье с пышными седыми волосами.

— Mademoiselle la Contesse, charmée de vous voir! *

Я молчала угрюмо.

— I am so happy to meet you...** Ich habe Ihren Vaters Bücher gelesen...***

Она выпаливала фразу за фразой, переходя с одного языка на другой, любезно улыбаясь. Но я продолжала молчать.

— Может быть, вы разрешите вам погадать?

— Нет, спасибо. Простите меня, но я избегаю знакомиться в тюрьме.

---

* Графиня, рада вас видеть! (*франц.*)
** Рада с вами познакомиться... (*англ.*)
*** Я читала книги вашего отца... (*нем.*)

Она пробормотала что-то по-французски и обратилась к моим товарищам по камере.

А между тем обо мне хлопотали. Маленькой коммунистке из рабоче-крестьянской инспекции непременно хотелось мне помочь, она говорила обо мне в ЦКП с Коллонтай.

— Вы же можете работать для нас,— говорила она мне,— и на свободе вы будете приносить гораздо больше пользы трудящимся.

Коллонтай вызвала меня к себе. Маленькая коммунистка сопровождала меня. Она суетилась, доставала пропуск в ЦКП. Она с беспокойством следила за впечатлением, которое я произвожу на Коллонтай.

А дней через десять после этого свидания она как ураган ворвалась к нам в камеру.

— Товарищ Толстая! Товарищ Толстая! У меня для вас что-то есть!

Черные глазки блестели больше обыкновенного, она прыгала по камере, смеялась, и видно было, что ее распирало от желания сообщить важную новость.

— Громадным большинством против одного голоса в ЦКП решено ходатайствовать перед ВЦИКом о вашем освобождении.

С другой стороны обо мне хлопотали крестьяне. Трое ходоков из Ясной Поляны и двух соседних деревень приехали в Москву к Калинину хлопотать за меня.

Сестра тоже была в Москве. И я просила отпустить меня на два часа в город.

Но сколько я ни просила, комендант не соглашался. Он был незлой человек, недаром носил очки и старался походить на интеллигента, но он получил распоряжение держать меня под строжайшим надзором и боялся.

— Товарищ комендант! Пожалуйста, пустите. Я сегодня же вернусь.

Он пристально взглянул на меня.

— Нет, нельзя. Лицо у вас такое приметное... Очки. Из тысячи узнаешь. Нельзя.

Ни слова не сказав, я вышла из конторы.

Через полчаса я пришла снова. На мне была Дунина сборчатая юбка, кофта, полушалок. Очки я сняла, брови собрала, подчернила, нарумянила губы и щеки.

— Куда лезешь? — крикнул комендант, когда я подошла к столу.

— К вашей милости, батюшка. Дозвольте слово молвить.

— Откуда ты?

— Не узнаете, товарищ комендант? — сказала я уже своим голосом.— Отпустите домой на часок, пожалуйста.

— Тьфу, чёрт. Это вы, товарищ Толстая? Ну, видно, делать нечего. В таком виде и сам прокурор республики вас не узнает. Но помните: в одиннадцать быть здесь и очков не надевать. Удивительное дело, как у вас лицо без очков меняется.

— Спасибо!

Было уже совсем темно. Идти надо было по набережной Москвы-реки. Кругом ни души. Вдруг быстрые шаги сзади.

— Эй, постой! Ай к милому бежишь?

За мной, запыхавшись, шел солдат.

— Давай знакомиться, что ли?

Я остановилась как вкопанная и, надев на нос очки, грозно посмотрела на красноармейца.

— Вы не знаете, с кем имеете дело, товарищ. В милицию хотите?

— Виноват, товарищ,— пробормотал солдат и взял под козырек.

— Что за маскарад? — спросила сестра, когда я наконец добралась до дому.

— Погоди, дай краску смыть, тогда расскажу.

Крестьяне повезли прошение, подписанное Яснополянским, Телятинским и Грумонтским обществами.

В моей квартире пили чай с деревенским ситником и разговаривали. Мужики говорили деловито, спокойно, без тени сентиментального сочувствия. И только когда кончили пить чай, самый молодой, Ваня, заметив, как я была голодна, завернул оставшийся ситник в бумагу.

— Возьмите с собой, Александра Львовна.

— Спасибо, Ваня!

И опять, раскрашенная, без очков, я бежала по набережной к себе в лагерь, сжимая под мышкой половину ситника. И радость от свидания с сестрой и мужиками, радость от Ваниной ласковой улыбки была больше, чем от надежды на освобождение.

Через месяц меня выпустили.

КАЛИНИН

— Выпустили? Опять теперь начнете контрреволюцией заниматься?

— Не занималась и не буду, Михаил Иванович!

Калинин посмотрел на меня испытующе.

— Ну, расскажите, как наши заключения? Хороши Дома отдыха, правда?

— Нет...

— Ну, вы избалованы очень! Привыкли жить в роскоши, по-барски... А представьте себе, как себя чувствует рабочий, пролетарий в такой обстановке с театром, библиотекой...

— Плохо, Михаил Иванович! Кормят впроголодь, камеры не отапливаются, обращаются жестоко... Да позвольте, я вам расскажу...

— Но вы же сами, кажется, занимались просвещением в лагере, устраивали школу, лекции. Ничего по-

добного ведь не было в старых тюрьмах! Мы заботимся о том, чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди...

Я пыталась возражать, рассказать всероссийскому старосте о тюремных порядках, но это было совершенно бесполезно.

Ему были неприятны мои возражения и не хотелось менять созданное им раз навсегда представление о лагерях и тюрьмах.

«Совсем как старое правительство,— подумала я,— обманывают и себя и других! И как скоро этот полуграмотный человек, недавно вышедший из рабочей среды, усвоил психологию власть имущих».

— Ну, конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же в общем и целом наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире!

«Ни с какими другими в мире по жестокости, бесчеловечности»,— думала я, но молчала. Мне часто приходилось обращаться к Калинину с просьбами, вытаскивать из тюрем ни в чем не повинных людей.

— Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет,— продолжал староста,— на днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете ли, что мне подали? Расстегаи, осетрину под белым соусом, и недорого...

Я засмеялась.

Опять неуверенный взгляд.

— Чему же вы смеетесь?

— Неужели вы серьезно думаете, Михаил Иванович, что вас не узнали? Ведь портреты ваши висят решительно всюду.

— Не думаю,— пробормотал он недовольно,— ну вот, скажите, чем вы сами питаетесь? Что у вас на обед сегодня?

— Жареная картошка на рыбьем жире.

— А еще?

— Сегодня больше ничего, а иногда бывают щи, пшённая каша.

Я видела, что Калинину было неловко, что я вру.

— Гм... плоховато. Ну, чем могу служить?

Помню, раз Калинин был особенно приветлив и весел.

— Заходите, заходите! — сказал он, увидев меня в приемной, где я разговаривала с его секретаршей, прекрасно одетой, смуглой красавицей с пышной прической, отполированными ногтями и изысканными манерами.

— У меня сегодня ходоки из Сибири, славный народ!

Ему, видно, хотелось, чтобы я присутствовала при его разговоре с крестьянами. А крестьяне действительно были славные, спокойные, большие, бородатые в нагольных полушубках и валенках.

Обстоятельно, не торопясь, мужики рассказали, как соседний совхоз оттягал у них луга, принадлежавшие обществу.

— И отцы, и деды владели этими лугами,— говорил пожилой мужик,— а теперь, что свобода открылась, отняли.

— Да, ну теперь перераспределение. Вы вот что скажите: покосы есть? У вас как там надел, по душам или по дворам?

Калинин суетился. Вскакивал, присаживался на широкие ручки кресел, курил, перебивал крестьян, рисуясь, как мне показалось, знанием деревни, знанием мужицкой речи.

А я думала: «Вот и у яснополянских тоже отняли». После смерти отца около 800 десятин было передано крестьянам по его завещанию; пахотная земля осталась за крестьянскими обществами, а луга и леса отошли правительству, к Тульскому лесничеству.

История, рассказанная сибиряками, была обычная: невежественные, опьяненные властью коммунисты иногда по-своему толковали декреты, а иногда слишком точно их исполняли и творили беззакония на местах,— по выражению Центра, «искажали линию».

На этот раз «линия была выпрямлена» и просьба сибиряков о возвращении им лугов уважена. Калинин был доволен. Ему приятна была благодарность сибиряков, сознание, что он сделал доброе, справедливое дело. Он был уверен или, может быть, старался уверить себя, что исправленная им несправедливость была лишь случайностью, одним из тех недостатков механизма, которые так легко было изжить. И если бы кто-нибудь сказал, показал или доказал ему, как дважды два — четыре, что вся созданная советская машина основана на несправедливости и жестокости и что изжить воровство, террор, разврат, творящиеся по всей России, особенно в глухой провинции, невозможно, он поверить этому не мог бы, не посмел.

В этот день Калинин удовлетворил и мое ходатайство об облегчении участи политической заключенной и, отдавши распоряжение красавице-секретарше, отправился в общую приемную. Здесь люди стояли сплошной стеной. Калинин смешивался с толпой, подходил то к одному, то к другому, быстро, на ходу выслушивал просьбы, торопливо говорил что-то следовавшей за ним девице и, опросив таким образом несколько человек, так же быстро уходил обратно в свой кабинет с тяжелыми кожаными креслами и громадным письменным столом, а посетители продолжали часами ждать следующего выхода.

— Если бы ваш отец был жив, как бы он радовался всему тому, что мы сделали для «рабочих масс»! — сказал мне как-то раз Калинин.

— Не думаю.

— То есть как это так не думаете?!! — Калинин так и привскочил на кресле.

— Не думаю,— повторила я, почувствовав, что мне удалось взять именно тот тон, в котором только и было возможно разговаривать с большевиками,— тон преувеличенной искренности, резкости. Калинина как будто и удивляло и забавляло то, что я смела ему возражать, он не привык к этому.

— Но разве ваш отец сам не боролся за рабочих и крестьян?

— Боролся. Но методы ваши: ссылки, отсутствие всякой свободы, преследование религии, смертные казни,— все это было бы для него совершенно неприемлемо.

— Так ведь это же все временные меры... Ну а земля трудящимся, а восьмичасовой рабочий день, а...

— Хотите я вам правду скажу, Михаил Иванович?— перебила я его, чувствуя, что я почти перешла границу того, что можно было говорить, и что Калинин вот-вот выйдет из себя,— если бы отец был жив, он снова написал бы: «Не могу молчать», а вы наверное посадили бы его в тюрьму за контрреволюцию!

Секретарша входила и выходила, напоминая старосте о делах, посетители ждали в приемной, а Калинин все бегал по комнате, курил, присаживался на угол письменного стола, опять вскакивал и никак не мог успокоиться. Мы проспорили полтора часа.

Калинин приезжал в Ясную Поляну, когда я сидела в тюрьме. Сестра показывала ему музей, отцовские комнаты, говорила о взглядах отца.

— Татьяна Львовна! — сказал он ей, выходя из кабинета.— Вы знаете, мне приходится подписывать смертные приговоры!

В 1922 году я пришла к Калинину хлопотать о семи священниках, приговоренных к расстрелу. Это было во

время изъятия ценностей из церквей, когда в некоторых местах выведенные из терпения прихожане встретили комсомольцев и красноармейцев камнями и не дали грабить церквей. На это советская власть ответила страшным террором. Особенно пострадали священники. Самые стойкие и мужественные из них были расстреляны.

Профессор, сидевший в одной камере с приговоренными к расстрелу священниками, рассказывал мне о их последних днях.

Зная, что после того как их расстреляют, некому будет похоронить их по православному обряду, священники соборовали друг друга, затем каждый из них ложился на койку, и его отпевали, как покойника. Профессор не мог рассказывать этой сцены без слез. Вышел из тюрьмы другим человеком: старым, разбитым, почти душевнобольным. Его спасла вера. Он сделался глубокорелигиозным.

Не помню, что я говорила Калинину. Помню, что говорила много, спазмы давили горло. Стояли мы друг против друга в приемной.

Калинин хмурился и молчал.

— Вы не можете подписать смертного приговора! Не можете вы убить семь старых, совершенно неопасных вам, беззащитных людей!

— Что вы меня мучаете!? — вдруг воскликнул Калинин.— Бесполезно! Я ничего не могу сделать. Почем вы знаете, может быть, я только один и был против их расстрела! Я ничего не могу сделать!

ДЕКРЕТ

Судьба Ясной Поляны мучила меня непрестанно и в лагере. Усадьба постепенно разрушалась, хозяйство приходило в полный упадок. Широкий размах Оболен-

ского, не желавшего считаться ни с какими советскими законами, неизбежно привел бы к катастрофе. Первая же ревизия обнаружила бы целый ряд злоупотреблений — с точки зрения советского правительства, и кто знает, чем все это кончилось бы? Нас всех разогнали бы, и что сталось бы тогда с усадьбой и старым домом?

В то время я еще наивно верила в возможность созидательной работы. Если бы Ясную Поляну удалось сделать культурным уголком, необходимым для населения и показательным для посетителей и иностранцев, то большевики сохранили бы ее? Нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы дом был освобожден от обитателей, восстановлен в том виде, как он был в момент ухода отца из Ясной Поляны, леса же с могилой, парк— должны быть объявлены заповедником.

С этими, не вполне еще продуманными планами я отправилась к Калинину в ВЦИК, надо было заручиться его принципиальным согласием. Ответ был благоприятный: «Подавайте проект, я поддержу».

Помощником моим в то время был пасынок сестры Сергей Сухотин. Его, так же как и меня, только что выпустили из тюрьмы. После полного бездействия предстоящая нам творческая работа, возможность созидания среди царящего кругом хаоса и разрушения — казалась почти чудом. И мы дали волю воображению: говорили часами, строили больницы, школы, народные дома, устраивали кооперативные организации, пускали из Москвы специальные поезда с экскурсиями, проводили дороги, заводили автомобили и тракторы. Казалось, что если наш проект декрета будет утвержден ВЦИКом — дело почти уже сделано. Трудность составления проекта заключалась в том, что надо было сделать его приемлемым для большевиков и не отступить от основных толстовских идей.

Наконец 10-го июня 1921 года меня вызвали на заседание Президиума ВЦИК. В то время транспорт у меня был прекрасно налажен. Трамваи не ходили, извозчики были слишком дороги, а я разъезжала по Москве на велосипеде. Я свела велосипед с третьего этажа, прицепила к рулю портфель, туго набитый бумагами, и поехала в Кремль. В воротах остановили:

— Пропуск!

— Мне на заседание ВЦИК.

— Подождите, я позвоню. Ваши документы.

Я веду велосипед в гору. Под воротами опять пропуск. Мимо царя-пушки, царя-колокола, направо через площадь. Пусто, кое-где шагает красноармеец. Заседание в бывшем здании суда. В небольшой комнате, за длинным, покрытым красным сукном столом сидят человек пятнадцать. На председательском месте Калинин. Накурено. Пустые стаканы с окурками и табачной золой на блюдцах.

Дело о Ясной Поляне, насколько помню, шло четырнадцатым. Сажусь у стены и жду. Дела решаются с молниеносной быстротой, на каждое тратится не больше трех-четырех минут.

«Наверное, дело о Ясной Поляне так быстро не решится»,— думаю я, волнуясь и готовясь к бою. Но напрасно. Проект декрета излагается сжато и толково. Задаются два-три вопроса. Один из членов президиума предлагает в пункте третьем, где говорится о назначении комиссара Ясной Поляны, заменить слово комиссар — хранителем.

— Это больше подходит к Ясной Поляне,— соглашается Калинин.

Привожу основные пункты Декрета Центрального Исполнительного Комитета:

Усадьба Ясная Поляна Крапивинского уезда, Тульской губернии, с домами, мебелью, парком, лугами,

полями, лесами, садами, объявляется собственностью РСФСР.

Музей усадьбы передается в ведение охраны памятников старины и искусства Народного Комиссариата по Просвещению.

Хранителю Музея-Усадьбы Ясная Поляна вменяется в обязанность сохранение дома и усадьбы в ее прежнем виде, восстанавливая все то, что пришло в упадок или изменено со смерти Л. Н. Толстого.

Хранителю вменяется в обязанность организовать культурно-просветительный центр в Ясной Поляне со школами, библиотекой, проводить лекции, беседы, спектакли, выставки, экскурсии и т. п.

Поля, огороды, луга, яблочные сады Ясной Поляны обрабатываются последователями Толстого под наблюдением Народного Комиссариата Земледелия по усовершенствованным методам с тем, чтобы хозяйство являлось опытно-показательным для посетителей Ясной Поляны и крестьян.

Хранитель Ясной Поляны имеет право «вето» на всякое решение Коммуны, если оно нарушит характер исторической или культурно-просветительной работы.

Меня назначили хранителем музея Ясная Поляна. Наступила новая эра.

ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

— Замнарком принимает?

— Сейчас доложу.

Привычным движением секретарь складывает в папку бумаги на подпись, вдвигает поспешно ящики, захлопывает, быстро и беззвучно распахивает дверь кабинета замнаркома по просвещению и исчезает за дверью.

— Примет, только придется подождать.

Юноша вежливо придвигает мне стул и берется за газету. Но ему не хочется читать газету, ему хочется разговаривать.

— Ну, как у вас там в школе?

— Ничего. Только вменяют в обязанность приглашение комсомольца, пионервожатого.

— Гм, да. Взвесить надо. Вам надо парня, чтобы на ять, ну, одним словом, чтобы понимал задачи, сознательного, а то всю работу вашу может сорвать...

— Нет ли у вас кого?

— Трудно, прямо скажу, почти невозможно. Есть ребята здесь, в центральном аппарате, но их мало, да и не отпустят, а дряни этой много, только к вам таких не пошлешь, нет, найти почти невозможно...

— А вы бы, товарищ Павел, не пошли бы?

— Да я бы хотел уехать, только партийцы не отпустят. Я ведь крестьянин, родители живут в деревне, я города не люблю.

Казалось, что он был не ко двору, этот спокойный милый юноша среди этой суетящейся, задерганной толпы пресмыкающихся перед начальством служащих Наркомпроса.

Как-то раз я застала его разговаривающим в коридоре с бедно одетой женщиной с двумя детьми.

— Проходите, проходите в приемную,— сказал он мне,— сейчас приду.

— Эх, этот бюрократизм! — начал он, как только вошел.— Тоже коммунистами себя величают. Доклады, приемы, а люди? Какое им до них дело?.. Если бы вы только знали...

Я молчала, мне страшно было за юношу, и мне хотелось, чтобы он замолчал. Но ему хотелось говорить, излить кому-то свою душу, все наболевшее, что переполняло ее.

— Карьеризм, генеральство, формализм, ничего не видят, да и не хотят видеть, что делается вокруг — беднота, недовольство — презрение к человеку...— пылали щеки, темнели серые глаза, шуршали бумаги на столе, которые юноша в волнении разбрасывал.

— Что они для народа сделали? Одну буржуазию уничтожили, а народили новую бюрократию.

Я ушам своим не верила. Здесь, в центре Наркомпроса — главного источника коммунистической пропаганды,— комсомолец проповедовал такую «ересь», разводил контрреволюцию. Каждую минуту юношу могли арестовать, приговорить к расстрелу. Но, казалось, ему было все равно.

— Что им благополучие и счастье народа? — продолжал юноша.— Везде горе. Видели женщину с двумя детьми? Она уже раз десять здесь была. Вдова с шестью детьми. Один из них идиотик. Она не может идти на работу и оставлять детей одних, а их ни в один детдом не принимают... Иногда думаю: плюну на все, уйду, будь что будет! Может быть, вы...

Но в эту минуту дверь из кабинета замнаркома отворилась, и, почтительно изогнувшись, в приемную проскользнул маленький смуглый человечек с длинными волосами и громадным портфелем под мышкой.

Послышался звонок. Юноша выпрямился, замер и, сильно тряхнув головой, словно отгоняя назойливые мысли, вошел в кабинет. Он почти тотчас же вышел и схватил телефонную трубку.

— Гараж? Товарищу Эпштейну машину! Срочно! Пожалуйста! — он указал мне на дверь кабинета.— Не более семи минут! Замнарком спешит на заседание.

Мне больше не пришлось говорить с юношей. Люди входили, выходили, приносили бумаги из других отделов для подписи. Секретарь был всегда занят. Только

один раз мне пришлось с ним быть наедине несколько минут.

— Я хотел бы поговорить с вами,— сказал мне юноша.

— Очень рада, только боюсь, не могу сегодня: я уезжаю в деревню, но я опять приеду через неделю.

Я думала о нем по дороге домой, и мне жалко было, что мне не пришлось с ним поговорить. Мне казалось, по выражению его лица, его грустных глаз, дрожащему голосу, что ему было тяжело и что-то тяжким бременем лежало на его душе. Но мне не суждено было узнать его тайну.

Десять дней спустя, когда я снова пришла в Наркомпрос, дверь в комнату комсомольца-секретаря была закрыта. Слышно было, что в комнате шло движение, точно передвигали мебель, несколько человек стояли в коридоре и рассказывали что-то друг другу взволнованным шёпотом. Я постояла в нерешительности несколько секунд и постучала в дверь. Никто не ответил. Я спросила чиновника в соседней комнате, что случилось?

— Комнату чистят. Наведайтесь через часок.

Проходя по коридору, я встретила знакомую девушку.

— Вы знаете, что случилось? — спросила она, видимо, горя желанием поделиться со мной сенсационной новостью.

— Нет, не знаю.

— Товарищ Павел, секретарь Эпштейна, застрелился!

— Что?!!

— Да. Пять минут тому назад. В висок. Нашли его, сидящим за столом, голова рукой подперта, а бумага вся залита кровью. Сейчас убирают...

Она продолжала болтать... Но я ее больше не слушала...

Я думала о страдающем, задумчивом юноше с грустными, прямо смотрящими глазами. Эти глаза, казалось мне, просили помощи, сочувствия.

«Зачем, зачем ты это сделал?» — мысленно спрашивала я его, вспоминая его крестьянское чистое лицо, непослушный хохол на голове, сильные крестьянские руки.

— Почему он это сделал? — сказала я громко.

— Никто не знает,— ответила девушка,— коммунисты говорят, что работник он был хороший, но партиец был плохой, несознательный.

*

* *

Трудно было просить этому гордому юноше, сыну губернатора. Опускались глаза с длинными черными ресницами, низко склонялась смуглая голова с коротко остриженными волосами.

— Они говорят, что меня исключили за то, что я не объявил, что мой отец был губернатором. А почему я должен был «им» об этом говорить? «Они» меня не спрашивали. Если бы спросили — я бы «им» ответил правду. Я не мог бы солгать, я не стыжусь...

Юноша гордо поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.

— Вы думаете, есть надежда? «Они» допустят меня окончить университет?

Он грассировал — университет — и в продолжение всего разговора говорил о коммунистах не иначе, как «они».

— Профессора дали мне блестящий отзыв, говорят, что я могу со временем принести пользу... Надо до-

учиться, вы понимаете, я говорю вам это не из хвастовства, ведь мне остался еще один год, только один год, и я...

Он вдруг сразу осекся, замолчал, кровь прилила к тонкой шее, к лицу, он густо покраснел.

— Вы меня понимаете! Неужели я не буду допущен в университет?

Мне было его жалко. Я бегала от одного заведующего втузами, вузами к другому — ничего не помогало.

Иногда в глазах одного из этих власть имущих я улавливала тень сочувствия, человеческую нотку в голосе, подобие ласковой улыбки на жестком лице, и я спешила воспользоваться моментом.

— Товарищ, пожалуйста, сделайте исключение! Этот юноша, по мнению профессоров, обещает сделаться выдающимся ученым по химии. Пожалуйста, сделайте исключение! Он может со временем принести пользу Советскому Союзу.

— Невозможно, товарищ Толстая. Он сын губернатора, наш классовый враг. И он злостно скрыл от нас свое происхождение. Мы не можем таким людям давать привилегии. Это нечестно по отношению к пролетариату!

Везде ответ был один и тот же. Юноша меня провожал и ждал меня в коридорах, пока я говорила с власть имущими. Он выделялся среди ожидающей толпы своим умением носить свой старенький опрятный, ловко сидящий на нем пиджак и своей красивой, высоко поднятой головой. На него оглядывались, девушки смотрели на него с интересом. Но «они», коммунисты, косились на него.

— Опять отказ? — спрашивал он меня.

— Да.

— Вы думаете, безнадежно?

— Посмотрим, я хочу еще раз пройти к замнаркому.

— Спасибо. Знаете что? Я еще хожу в университет. Если меня примут, то фактически у меня нет пропусков. Как вы думаете, это хорошо? Да, я забыл вам сказать. Мои родители вам так благодарны.

— Как они?

— Плохо. Отец не ходит; нога его не лучше. Мама ничего, спасибо! Но вчера она была очень расстроена: продуктовые карточки отняли. Не знаю, как теперь мы будем доставать продовольствие. Вы знаете, как дорого все на базаре, да и достать трудно. Теперь они грозят, что выгонят нас из квартиры. Ах, только бы мне университет окончить, тогда все будет хорошо.

Прошло три недели, пока я добилась замнаркома по просвещению. Юноша несколько раз приходил ко мне узнать, что мне удалось сделать. Он сильно похудел, побледнел, пропала его обычная бодрость.

Да и я чувствовала, что положение безнадежное.

Мой разговор с замнаркомом был краткий.

Когда я стала излагать ему мою просьбу, он резко меня оборвал:

— Зря тратите время, гражданка. Мы не можем его принять. Неужели вы думаете, что одной рукой мы будем уничтожать наших врагов, а другой будем им предоставлять привилегии: возможность учиться и занимать хорошие места в ущерб товарищам из рабочих и крестьян?

— Но это совершенно исключительный случай. Выдающийся талант. Вы же нуждаетесь в научных работниках...

— Простите, товарищ Толстая! Вы знаете поговорку: «Лес рубят — щепки летят». У нас достаточно талантов среди пролетариата...

Вечером Федя пришел ко мне.

— Мой профессор мне сказал, что если бы Горький согласился просить за меня...

— Федя,— сказала я, делая страшное усилие, чтобы решиться сказать ему правду,— я была у замнаркома сегодня, надежды нет.

Сердце разрывалось на части. Я взглянула на юношу. В глазах его было отчаяние.

— Никакой... надежды?..

— Нет, в настоящее время никакой, я думаю...

— Боже мой... что же мы, я...

Слова застряли в горле. Он не то поперхнулся, не то закашлялся и выбежал из комнаты.

Я — ХОДАТАЙ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЛАМ. ГПУ

Когда я приезжала в Москву, телефон звонил с утра до вечера. По ошибке арестовали профессора; земский врач находился под угрозой ссылки; схватили заведующего музеем из аристократов; разгоняли бывший монастырь, превратившийся в трудовую коммуну; ссылали кого-то за сатиру против советской власти; священнику грозили расстрелом за слишком сильное воздействие на паству; собирались снести церковь, где венчался Пушкин...

В памяти был длинный лист всех тех дел, о которых надо было хлопотать в промежутках между своими прямыми обязанностями: найти хоть один или два микроскопа для школы, что было нелегкой задачей, и найти их можно было только у старьевщиков, просить Наркомпрос об увеличении ссуды на учебные пособия; просить Музейный Отдел об увеличении сметы на ремонт крыш в усадьбе; отыскать преподавателей, которых всегда не хватало в Яснополянской школе; присутствовать на конференции; посмотреть работу по Дальтон плану в 14-й школе Моно и прочее и т. п.

Заранее надо было обдумать, в каком учреждении и у кого хлопотать по тому или иному делу.

О сохранении церкви, в которой венчался Пушкин, надо было хлопотать у Смидовича, заместителя Калинина. Он интеллигент и скорее поможет в этом деле. И действительно, Смидович помогал. Выслушивал просьбы спокойно, не перебивая, долго и обстоятельно расспрашивал, думал, мечтательно подняв кверху добрые, голубые глаза.

А я смотрела на него и думала: «Как он может? Как он может с ними работать, не понимает? Не видит?»

— Ах, как я устал,— говорил он иногда,— как хотел бы я сейчас в деревню, жаворонков послушать! — и страшная тоска слышалась в голосе.

Я бывала у него часто и каждый раз поражалась, как он быстро дряхлел: покрывались сединами голова и короткая бородка, появлялось все больше и больше морщин на измученном широком лице.

С некоторыми просьбами я обращалась к добродушному и недалекому грузину Енукидзе — секретарю ВЦИК. Он всегда добродушно улыбался и редко отказывал, и мне удалось, благодаря ему, многих вытащить из тюрьмы.

Но чаще всего я обращалась к Менжинскому* и Калинину.

Один раз я ездила к Менжинскому с Верой Николаевной Фигнер.

Насколько я помню, мы хлопотали за арестованных членов Кооперативного издательства «Задруга». «Задругу», как и другие культурные начинания частного характера, разгромили, и бывшие члены ее преследовались. Может быть, их арестовывали в связи с отъез-

* Менжинский, Вячеслав Рудольфович (1874—1934). Возглавлял ОГПУ (1926—1934).

дом бывшего председателя «Задруги» историка С. П. Мельгунова, написавшего уже за рубежом книги «Красный Террор», «Колчак» и другие.

Никогда не забуду лица Веры Николаевны Фигнер, когда мы с ней входили в кабинет Менжинского. Сколько гордости, достоинства было в ее аристократическом, когда-то, должно быть, очень красивом лице, когда мы получали пропуск в комендатуру ГПУ. Годы одиночного заключения не согнули ее гордую голову.

Нам пришлось подняться на третий этаж. Красноармеец почтительно показывал нам дорогу. В конце длинного коридора открылась дверь, раздвинулись тяжелые портьеры. Менжинский стоял на пороге.

— Очень рад, что имею удовольствие видеть вас у себя!

Вера Николаевна не склонила головы, не ответила.

— Ведь было время, когда мы вместе работали с вами,— продолжал Менжинский,— помните...

— Да, вы тогда писали...

— Да, я был писателем тогда...

— А теперь?.. К сожалению, вы переменили свою деятельность,— продолжала Вера Николаевна, не замечая протянутой руки,— и... мы уж больше с вами не товарищи...

На секунду протянутая рука повисла в воздухе, тень пробежала по лицу чекиста, но он не убрал протянутой руки, а сделал вид, что указывал ею в глубь комнаты.

Бесшумно ступая по густым коврам, мы вошли в комнату.

— Пожалуйста, садитесь!

Возможно, что Менжинский обиделся на обращение с ним В. Н. Фигнер; сотрудники «Задруги» были освобождены гораздо позднее.

Следующую мою просьбу Менжинский исполнил.

Ко мне пришел писатель, я знала его по работе на фронте в Земском Союзе. Он только что приехал из Сибири. Работал у Колчака, потом скрывался в Москве.

— Я хочу легализироваться,— сказал он,— не можете ли вы помочь мне?

Я задумалась.

— А вы согласны рисковать?

— Я думаю, что без этого нельзя.

И вот я опять в кабинете заместителя председателя ОГПУ, Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Он всегда был со мною любезен. Почему? До сего времени мне это непонятно. Я не верю, чтобы у него было уважение к Толстому и что поэтому он относился ко мне снисходительно, желая себя уверить, что и они уважают культурные ценности России — русских писателей, художников. А может быть, этих, у власти стоящих людей, могущих каждую минуту раздавить меня, забавляла моя откровенность, граничащая с дерзостью, которой я сама себя тешила, разговаривая с ними.

Помню, как однажды, войдя в кабинет к Менжинскому, я начала свою просьбу словами:

— Долго ли вы будете продолжать заниматься этим грязным делом? Казнить ни в чем не повинных людей? Ведь должен же наступить конец этой бессмысленной жестокости?

Любезная улыбка застыла, и взгляд хитрых маленьких глаз из-под пенсне сделался острым, жестким.

— ГПУ перестанет существовать, как только мы уничтожим контрреволюционные элементы в стране!

На этот раз в моих руках прямая ответственность за жизнь хорошего умного человека, известного писателя, и я должна быть очень осторожна.

— Чем могу служить? Говорите, только не задерживайте. Пришлось работать всю ночь — устал,— бросает он вскользь.

Менжинский не похож на чекиста. Интеллигентский клок волос свисает на лоб, лицо подвижное, скорее красивое, но чем-то напоминает лису.

— Вячеслав Рудольфович,— говорю я,— трудно верить заместителю председателя ГПУ, когда вопрос касается политических, но я пришла к вам сегодня с полным доверием, и я верю, что вы мне ответите тем же.

— Гм... Почему же это нам трудно верить?

Глаза мои встретились с маленькими, хитрыми глазками поляка.

— А что, если бы я просила вас помиловать человека, участвовавшего в белом движении?

— Многое зависит от того, кто он, где он сейчас, чем занимается!

Жесткие глаза кололи, гипнотизировали.

— Представьте себе, что этот человек далеко, скрывается под чужим именем, но хочет легализироваться...

— Весьма возможно, что мы пойдем ему навстречу... если он надежный, если мы узнаем, что он искренно раскаялся в своей контрреволюционной деятельности. Но ведь для этого я должен знать!

И чем сильнее сверлили острые глаза, стараясь внушить, напугать, тем сильнее росло во мне внутреннее противодействие. Напряжение дошло до крайних пределов.

— Я вам ничего не скажу, даже если бы вы арестовали, пытали меня, пока вы не дадите мне честное слово, что вы этого человека не тронете, если я назову его вам.

— А чем он занимается? Где он сейчас?

Я молчала. Допрос продолжался около часа.

Наконец я встала, собираясь уходить.

— Подождите!

Менжинский с минуту колебался.

— Он активно участвовал, сражался против красной армии?

— Нет.

— Извольте, я даю вам слово, что я его не трону.

— Не посадите в тюрьму, не сошлете, не казните?

— Нет.

Я назвала фамилию писателя. Менжинский эту фамилию знал.

— Где он?

— В Москве.

— Скажите ему, чтобы он завтра ко мне явился.

— Хорошо.

Он написал пропуск и подал мне.

Менжинский сдержал слово. Писатель получил бумаги, остался жить в Москве и стал заниматься своей литературной деятельностью.

«РЕЛИГИЯ — ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА»

Мы все — дети, музейные работники, учителя, крестьяне — жили двойной жизнью годами. Одна жизнь — официальная, в угоду правительству, другая — своя, которая попиралась и которую мы скрывали в глубине своего существа. Даже дети научились фальшивить.

Учитель обществоведения, по долгу своей службы, на собраниях в совете, в школе, на митингах днем громил религию, кощунствовал, а ночью пел молитвы.

Чтобы забыться, заглушить в себе голос, подсознательно поющий молитвы, учитель все с большим и большим жаром отдается работе и в горячке деятельности сам не замечает того, что он все больше и больше подлаживается и теряет то свое настоящее, что было в нем. Он с подобострастной улыбкой встречает ничтожного

комсомольца или члена партии, лебезит перед ним, и в своей угодливости, в безумном страхе перед возможностью преследования, потери должности он все больше и больше становится ничтожеством.

В первой ступени ребятам не хочется петь Интернационал, и они упрекают учительницу за то, что она заставила их это делать. Во второй ступени, на вопрос заместителя наркома по просвещению, Эпштейна, ходят ли они в церковь, ребята разражаются бурным смехом, а вместе с тем я почти уверена, что многие из них ходили в церковь и изводили учителей вопросами о вере, Боге и т. п.

В школе были убежденные атеисты, но были и верующие. Каким-то чутьем ребята угадывали, кто из них верит в Бога, и они нередко ставили учителей в трудные положения.

Помню, однажды, во время одного из своих посещений Телятеньской школы первой ступени, я услыхала страшный шум в третьей группе. Я вошла. Среди класса стоял совершенно растерянный учитель, Петр Николаевич Галкин. Ученики же кричали, требовали...

— Александра Львовна, как хорошо, что вы пришли! — сказал учитель.— Пожалуйста, скажите им, есть ли Бог или нет.

— Ну, конечно, есть, ребята! — сказала я.

— Ну, что мы ему говорили! — загалдели вдруг ребята.— А вот он,— и один из мальчиков указал на пионера с красной повязкой вокруг шеи,— говорит, что Бога нет!

И опять поднялся страшный шум.

— Нам товарищ Ковалев все растолковал! — кричал пионер.— Только буржуи верят в Бога, а попы нарочно затемняют народ и потом грабят его.

Я вышла из класса через час.

Ребятам все надо было знать: верю ли я по-православному? как верил мой отец? все ли попы были жадные? верю ли я в будущую жизнь?

Учитель был смущен. Он проводил меня по коридору.

— Ничего это, Александра Львовна? Вы так смело говорили?!

— Не знаю.

Да и по правде сказать, мне было все равно. Ну закроют школу, выгонят. Может быть, это и лучше. В ушах звенели возбужденные детские голоса, я видела их горящие, любопытные глазенки, я сознавала, что своим трусливым молчанием мы лишали их самого главного.

— Так куда же заезжал Гоголь, ребята? — спросила учительница литературы у старшей выпускной группы.— Ну, путешествовал он по Европе, а затем куда же он ездил?

Молчание.

— Он заезжал в Палестину. Вы же знаете Палестину? Чем она знаменита?

Опять молчание.

— Ну, кто же жил в Палестине?

— А кто его знает, святой какой-то, как его...

Имени Христа никто «не знал».

Что толку в том, что у нас не велась антирелигиозная пропаганда. Весь программный материал в школах был начинен материалистической психологией. А как только в беспросветной мгле этой неудобоваримой, затемненной путаницы ребята сами пробивались к свету, мы против собственных убеждений толкали их обратно во тьму.

Что толку было в том, что мне удалось не иметь в нашей школе уголка безбожника со всегдашним непременным атрибутом этих уголков — изображением

толстопузого, краснорожего попа, Христа в кощунственном виде, антирелигиозных, грубых и мерзких стихов Демьяна Бедного и т. п.?

Губернский и районный комитеты партии обращали сугубое внимание, в отношении антирелигиозной пропаганды, на Ясную Поляну. Ставили кощунственные, осмеивающие религию пьесы и кинематографические фильмы в Народном Доме, читали лекции на антирелигиозные темы, вели пропаганду через комсомольскую ячейку.

Сначала комсомольской ячейки не было в самой школе, и наши школьные комсомольцы входили в деревенскую ячейку. Но позднее была организована специальная, школьная ячейка и секретарем ячейки был назначен ученик из старшего класса.

Комсомольцы требовали организации уголка безбожника в школе. Комсомольцы-школьники теперь вели уже пропаганду на деревне. Под Пасху, под Рождество, вообще под большие религиозные праздники комсомольцы-школьники устраивали вечера в Народном Доме, посвященные антирелигиозной пропаганде. Крестьяне постарше отплевывались, возмущались бессовестным кощунством молодежи, девки же и молодые ребята рады были всякому зрелищу и посещали Народный Дом. Иногда в сочельник молодежь гуртом отправлялась в церковь, пела кощунственные песни в ограде под окнами церкви, в то время как внутри шла служба...

И все чаще и чаще в голову закрадывалась мысль: «Хорошо ли я сделала, что организовала школы? Не было ли все это страшной, непоправимой ошибкой?»

Я отводила душу в Музее.

В праздники мы пропускали несколько сот посетителей через музей: советские служащие, рабочие, красноармейцы, учащиеся.

Пропускались посетители группами не более двадцати человек. Шума не допускалось. Старик Илья Васильевич вел книгу записей.

— Пожалуйста, товарищи, из уважения к памяти Льва Николаевича снимите головные уборы! — говорил он.

Это сразу же создавало какое-то особое настроение торжественности.

Самые серьезные посетители — рабочие и красноармейцы.

Самые пустые — советские служащие, особенно советские барышни.

Рабочие и красноармейцы знали про Толстого, коечто читали, всегда задавали серьезные, значительные вопросы. Советские служащие большей частью ничего не читали, и трудно было давать им объяснения: приходилось ограничиваться биографическими сведениями.

Для большинства молодых рабочих было совершенно неизвестно отношение Толстого к рабочему народу. Они не имели понятия о его статьях: «Не могу молчать», «Единое на потребу», «Так что же нам делать?», «К рабочему народу» и других. Громадное впечатление производила на этих посетителей стеклянная глыба — подарок рабочих Мальцевского завода — с трогательной надписью: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века. Раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас, как хотят и от чего хотят фарисеи, первосвященники. Русские люди будут всегда гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым!»

Помню один серьезнейший разговор, происшедший между мной и группой красноармейцев, желавших во что бы то ни стало понять религиозные убеждения Толстого. Разговор зашел настолько далеко, что мне при-

шлось напрячь все свои умственные силы, чтобы дать исчерпывающие ответы.

К сожалению, у меня почти что не сохранилось отцовских религиозно-философских брошюр, достать же их было невозможно. Они не только не издавались, но были запрещены во всех народных библиотеках. Но я всё же отыскала у себя несколько книг и дала им.

Помню группу учеников Тульской совпартшколы. До этого посещения, может быть, потому, что наш враг Чернявский был с ними связан, я боялась этого учреждения.

С некоторым трепетом я стала показывать Музей. Начала, как всегда, с залы, рассказывая им про предков отца, перешла на крепостное право, на отношение к нему отца и с первых же слов почувствовала, что ребята заинтересовались. И, как это иногда бывает, неизвестно почему, между нами вдруг установилось какое-то понимание и дружественная связь.

Я задержалась с ними дольше обыкновенного. Когда мы перешли в гостиную, я указала им на книгу «Мысли Мудрых Людей», лежавшую на столе, и объяснила, как отец каждое утро читал изречение на данный день.

— Это было его молитвой...— сказала я и вдруг спохватилась, вспомнив, что для совпартшкольцев молитва есть что-то отвратительное, опиум для народа, как они говорят. Я взглянула на ребят. Но они все слушали серьезно и проникновенно.

— Давайте и мы последуем примеру Льва Николаевича,— сказала я,— и прочтем изречение на сегодняшний день.

Изречение оказалось из Евангелия.

— Кто написал эти прекрасные слова? — спросил меня один из учащихся.

— Это слова Христа,— ответила я.

— Не может быть! — воскликнули ребята.— Христос не мог этого сказать! Да и существовал ли он? Нас учили, что его никогда и не было...

Ни один из двадцати юношей никогда не читал Евангелия! Я принесла им Евангелие, переложенное отцом, я принесла им «Христианское учение», «В чем моя вера» и другие брошюры.

Мы распрощались очень сердечно, юноши ушли. Я стала показывать музей следующей группе.

После обеда мне надо было сходить в школу. Проходя мимо парка, я опять увидела совпартшкольцев. Они лежали в кругу на траве, и один из них громко читал Евангелие.

Но вскоре этим свободным разговорам должен был прийти конец. У меня было все меньше и меньше времени для того, чтобы давать объяснение посетителям Музея, а сотрудники, боясь коммунистов, ограничивались чисто внешними объяснениями.

В Музейном Отделе Наркомпроса становилось все меньше и меньше беспартийных интеллигентных работников, коммунисты требовали марксистского освещения Толстого при даче объяснений в Толстовских музеях.

ТОВАРИЩ СТАЛИН

Не только опасность превратиться в обыкновенные советские учреждения, но и опасность разгрома постоянно висела над Толстовскими учреждениями.

Толстовский Музей, директором которого я была назначена после отъезда Тани за границу, был в лучших условиях, так как находился под защитой центра. Ясная же Поляна была под постоянным наблюдением нескольких десятков местных коммунистов. Как мухи вились они над усадьбой, стараясь найти слабые места

в нашей организации, в которые можно было бы нас ужалить. И хотя я и отмахивалась от них постановлением ВЦИКа и каким-то мифическим договором между ВЦИКом и мною, тем не менее я не переставала ни на минуту ощущать грозящую нам опасность.

Мысль о праздновании столетия со дня рождения отца (1828—1928) явилась у нас главным образом как самозащита. Коль скоро Советы согласятся устроить празднование, пригласить иностранных делегатов и удастся даже и за границей нашуметь этим юбилеем, Советам придется некоторое время считаться с именем Толстого, и, таким образом, нам удастся сохранить Толстовские учреждения в неприкосновенности.

Мы подали докладные записки и сметы еще в 1926 году. План был разработан грандиозный:

Издание Госиздатом совместно с редакционной группой Черткова и Товариществом Изучения Творений Толстого первого полного собрания сочинений отца, в 90—93 тома. Сюда должно было войти все пропущенное ранее цензурой: его дневники, письма, неизданные произведения, варианты и прочее.

Реорганизация Толстовского Музея, перевод его в каменное здание, пополнение коллекций и прочее.

Ремонт зданий в Ясной Поляне, дома Музея, флигеля, бывшего скотного двора, построенного Волконским, восстановление всего дома Музея в прежнем его виде (1910 г.). Постройка школы-памятника Толстому, больницы, общежития для учителей и многое другое.

Был назначен специальный юбилейный комитет под председательством Луначарского. В него вошли Чертков, Гусев, представитель от яснополянского крестьянства, председатель тульского Губисполкома, профессор М. Цявловский и другие. Комитет должен был продвигать все сметы в ВЦИКе и Совнаркоме, быть главным инициатором всего юбилейного дела. Но на самом деле

комитет собрался раза два-три и почти ничего не сделал.

Да и трудно было что-либо делать. Денег не было. Хозяйство Ясной Поляны, в 1925 году перешедшее от Артели в ведение Музея-Усадьбы, едва-едва себя окупало. С самого начала существования Наркомпрос был всегда самым бедным ведомством. Сметы подавались из года в год, но удовлетворялись лишь в малой части.

Первое крупное ассигнование на школу было сделано в 1925/1926 сметном году. Вместо того чтобы строить школу, я закупила рощу в Калужской губернии и поручила агенту по лесным заготовкам заготовку дров. На следующее лето 1926 года мы вызвали юхонцев * из Калужской губернии и приступили к выделке и обжиганию кирпича.

Наркомпрос был поставлен в тупик, когда получил отчеты о заготовке нескольких вагонов леса и выработке кирпича. По всей вероятности, ни одна школа не представляла еще подобных отчетов. Я представила доказательства, что на Тульских заводах кирпича купить нельзя было и цена его была, вместо прежних довоенных 7 рублей, 70—80 рублей тысяча; и Наркомпрос объяснениями моими удовлетворился.

Сделали миллион кирпича, вывели стены, и опять не хватило денег. Рабочие руки стоили недорого, но заработная плата рабочих увеличивалась чуть ли не на сорок процентов надбавками: на спецодежду, страхование, союз, банные деньги, культурно-просветительные расходы и прочее. С рабочими были постоянные неприятности. Партийцы из профсоюза строительных рабочих то и дело наведывались и возбуждали рабочих против заведующего работами: то не выдали спецодежду вовремя, то переработали, то жалованье уплатили не по тому разряду.

---

* Специалисты по выделке кирпичей.

Я металась со сметами между Ясной Поляной и Москвой. С одного заседания на другое. То по изданию Полного собрания сочинений, то по Толстовскому Музею, то по Товариществу Изучения Творений Толстого, в Ясной Поляне школьные совещания сменялись совещаниями по детским садам, по музею, по организации больницы.

А денег все не было.

Наконец я решила во что бы то ни стало добиться толка. Надо было увидать Сталина.

Мне пришлось съездить несколько раз в Москву, прежде чем я добилась аудиенции. Любезный секретарь каждый раз находил какую-нибудь причину, чтобы Сталин меня не принял.

Но я настойчиво добивалась своего.

ЦК партии помещался в большом доме в одном из переулков около Никольской. Внизу у входа меня остановили.

— Простите, товарищ, разрешите осмотреть ваш портфель.

— Пожалуйста.

Под щупающими глазами красноармейцев я вошла в подъемную машину.

— К товарищу Сталину? Сюда, пожалуйста!

Маленькая приемная. Кругом три кабинета: Сталина, Кагановича * и Смирнова **.

Очень любезная немолодая секретарша.

— Немного подождите. Товарищ Сталин занят.

Бесшумно отворяющиеся двери. Посетители направляются большей частью ко второму секретарю Кагановичу. Чувствуется, что он играет крупную роль, гораздо крупнее, чем третий секретарь Смирнов.

---

* Каганович, Лазарь Моисеевич (1893). Нарком. Изгнан из руководства в 1957 г.

** Смирнов, Иван Никитович (1881—1936). Нарком. Расстрелян.

Я не слыхала, как открылась дверь и вошел секретарь Сталина — молодой, необыкновенно приличного вида человек.

— Пожалуйста!

Громадная, длинная комната, и в конце ее одинокий письменный стол. Сидевший за столом человек поднялся и, обойдя стол слева, пошел мне навстречу.

— Садытесь, пожалуйста! — сказал он с кавказским акцентом.— Чем могу служить?

Я сказала ему о предполагаемом юбилее, об общем плане и необходимых средствах для осуществления этого плана.

— Для меня важно решение вопроса,— сказала я,— будем ли мы что-либо делать или нет? Если да, то нужно немедленно провести ассигновки. Если не будем, то так мне и скажите, но я тогда не несу никакой ответственности...

— Сумму, которую юбилейный Комитет просит,— не дадим. Но кое-что сделаем. Скажите, какую минимальную сумму нужно, чтобы осуществить ну... самое необходимое.

Как я вспомнила, Комитет первоначально запросил около миллиона рублей. Я быстро прикинула, что нам нужно в первую очередь: достроить школу, больницу, общежитие для учителей, ремонтировать такие-то здания и сказала ему.

— Хорошо, постараемся.

Для меня было ясно, что ему хотелось, чтобы я скорее ушла. Толстой, Толстовские учреждения были ему безразличны. Большевики смотрели на этот юбилей, как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подешевле.

По внешности Сталин мне напомнил унтера из бывших гвардейцев или жандармского офицера. Густые, как носили именно такого типа военные, усы, правиль-

ные черты лица, узкий лоб, упрямый энергичный подбородок, могучее сложение и совершенно не большевистская любезность.

Когда я уходила, он опять встал и проводил меня до двери.

НАЧАЛО СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКИ

Злостные придирки коммунистов, ревизии в школах и музее продолжались главным образом со стороны местных властей. Приходилось ездить в Губисполком и в Москву, давая объяснения и прося защиты. Неожиданные налеты партийцев нагоняли страх на всех сотрудников, мешали работать.

Иногда совершенно неожиданно под вечер приезжала группа большевиков из губпарткома. Они привозили с собой пряники, конфеты для детей, подарки и советскую пропагандную литературу.

Усилилась антирелигиозная пропаганда, детей священников выгоняли из школ, установили шестидневную неделю с тем, чтобы ученики посещали школу и в воскресенье. Не исключалось и Пасхальное Воскресенье. Коммунисты требовали, чтобы в этот день школы были открыты. Я отказывалась исполнить требование партийцев. Комсомольская ячейка нажимала.

Машка оказалась между двух огней. Она не хотела огорчать крестьян — родителей детей,— настаивая на требованиях партийцев, и не хотела выступать против меня. С другой стороны, она боялась, что ей попадет по партийной линии. Прислали коммуниста из Тулы. Он долго говорил со мной, требуя, чтобы учителя давали уроки в Пасхальное Воскресенье. После долгих разговоров он наконец согласился собрать всех учителей и решить вопрос общим голосованием.

Вечером в страстной четверг собрались в новой школе 2-й ступени все учителя, приехавший из города коммунист и члены коммунистической ячейки. После пропагандной речи партийца, направленной против религиозных предрассудков, говорила я. Я упомянула о мнении Ленина, сделавшего исключение для школ имени Толстого, говорила о родителях: какое это вызовет огорчение и возмущение, если детей заставят учиться в такой большой праздник. После коротких прений поставили вопрос на голосование. Я была спокойна. Учительский коллектив, за исключением нескольких человек, всегда меня во всем поддерживал — работали мы очень дружно. Я не поверила своим глазам, когда на мое предложение не заниматься в Пасхальное Воскресенье поднялись четыре руки. Со мной голосовали: школьный врач, двое скромных учителей первой ступени и мой друг — преподавательница литературы во второй ступени.

Я вышла в соседнюю комнату, чтобы немного успокоиться. Когда я вернулась, партийцев уже не было, и я могла свободно говорить.

— Мы могли вместе работать,— обратилась я к учителям,— мы могли до известной степени оградить школу от коммунистического влияния, избегать антирелигиозной пропаганды, милитаризации, только при большой сплоченности, при общем понимании наших целей и задач. Борьба была нелегка, но мы твердо проводили свою линию и старались придерживаться принципов моего отца, имя которого несет эта школа. Я от всего сердца благодарю тех из моих сотрудников, которые до конца поддерживали меня и те идеи, за которые мы боролись. Потеряв поддержку большинства, я не смогу больше возглавлять нашу Опытно-Показательную станцию «Ясная Поляна», созданную вместе со всеми вами...

Спазмы сдавили мне горло. Я не могла больше говорить. Во мне росло убеждение, что дальше я бороться не в силах и не в силах больше притворяться, лгать, лучше тюрьма, ссылка, даже смерть!

Работать становилось все труднее и труднее. Ясная Поляна уже не составляла исключения, и бороться с влиянием компартии было немыслимо. Мое решение уйти, освободиться от гнетущего чувства и сознания, что совесть все больше и больше засоряется ложью, что, спасая себя, морально ты падаешь все ниже и ниже,— крепло с каждым днем.

Чтобы легче наблюдать за деятельностью сотрудников музея и школ, Губпартком решил организовать ячейку в самой Ясной Поляне.

Кроме Машки Жаровой — представительницы от рабочих по совхозу «Ясная Поляна» и кооперативу — в ячейку были назначены почтарь-партиец и секретарем ячейки — товарищ Трофимов, командированный из Тулы.

Трофимов обладал всеми качествами заядлого большевика: самоуверенной грубостью, нахальством, невежеством и жестокостью.

Он любил всех учить, говорить длинные речи, пересыпая их мудреными словами и фразами, которых он сам и никто другой не понимал.

— Мы, так сказать,— обращался он к учителям,— страдаем высокообразованным академическим достижением, товарищи... и, так сказать, требуем сознательного понимания партии...

А культурные — доктор Арсеньев, окончивший три факультета, наш обществовед, окончивший два факультета,— и все мы были обязаны слушать эту белиберду.

Трофимов всегда ходил в черной блестящей кожаной куртке, кепке и лаковых сапогах. Меня он побаивался и ненавидел.

— Ох, гражданка Толстая,— как-то сказал он мне,

поигрывая револьвером в черной кобуре, не в силах сдержать своей злобы,— была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, рука бы не дрогнула. И чего Центр смотрит?!

Я засмеялась. Лицо его злобно сморщилось, и из-под поднятых бровей метнулись на меня белесые, неопределенного цвета мутные глаза. Он круто повернулся и пошел, бессильно сжимая свои нерабочие, узловатые, грязные руки в кулаки. Почему-то эти руки всегда вызывали во мне особое чувство гадливости.

У Трофимова не было никакой определенной работы, но он повсюду совал свой нос, и все его ненавидели. Он считал себя вправе распоряжаться, давать указания преподавателям, учить их, как надо вести антирелигиозную пропаганду, которая усилилась в Народном Доме. Меня раздражало, что Трофимов без разрешения проводил собрания с нашими учениками. А когда он, как хозяин, не снимая кепки, входил в Музей, и в кабинет, и в спальню отца — всё кипело во мне от сдерживаемого гнева.

Постепенно все должности в кооперативах, в Народном Доме, на почте были заполнены коммунистами. Заместителем моим по Музею-Усадьбе «Ясная Поляна» был назначен советский писатель Вишнев, ничтожный, безличный человек, полуинтеллигент, начавший с того, что старался внушить мне, что надо употребить учение Толстого как орудие антирелигиозной пропаганды.

— Ведь Толстой же был против церкви,— говорил он,— мы же можем его цитировать в нашей борьбе с религиозными предрассудками.

Мои возражения и доводы, что Толстой был очень религиозным человеком,— были бесполезны.

В 1929 году была ранняя весна. Постепенно таял лед на реках.

Луга были затоплены водой. В лесу еще лежал снег.

Я не могла спать. Рано утром я встала и пошла через лес на отцовскую могилу. Едва светало. Солнце вставало, освещая верхушки деревьев. Под ногами хрустел и ломался лед. Я села на скамейку у могилы. Тишина — ни звука. Постепенно засветились ярким золотым светом деревья, заверещала одна птичка, и вдруг лес огласился пением. Здесь был покой. Все остальное — ложь, фальшь. И я создала все это его именем, именем того, кого я любила больше всего и всех на свете.

Уже солнце было высоко, когда я пошла домой — я ни о чем не думала, но чувствовала, знала, что жить во лжи я больше не могу.

ПРОЩАЙ, РОССИЯ!

Я подала заявление в Главсоцвос, прося освободить меня от обязанностей заведующей Опытно-Показательной станции и Музея-Усадьбы. Отставку мою не приняли. Я пошла к заместителю Наркома Просвещения, Моисею Соломоновичу Эпштейну. Я ему откровенно сказала, что не могу больше работать, потому что нарушено указание Ленина о возможности дать некоторую свободу Ясной Поляне, из уважения к моему отцу.

— Мне стало трудно,— говорила я ему,— в школах вводят антирелигиозную пропаганду, милитаризацию, то, что противно взглядам моего отца. Полуграмотные партийцы, как вы выражаетесь, «искривляют линию» и просто-напросто бесчинствуют. Вы не можете себе представить, какое насилие происходит с коллективизацией. Недавно знакомый крестьянин решил уйти из коллектива, не мог в нем работать. Партийная ячейка настояла, чтобы ему не возвращали его имущества.

Крестьянин потерял все, семья осталась на улице. В полном отчаянии крестьянин повесился.

— Я только что из деревни,— ответил Эпштейн.— Я посетил большие коллективы. Крестьяне очень довольны. Обрабатывают землю тракторами, завели племенной скот.

— Где вы были? Кто это вам говорил?

— Я был в нескольких коллективах, и, конечно, никто не знал, кто я. Все очень довольны.

«Боже мой! — думала я.— До чего главы правительства глупы и недальновидны. Всегда одна и та же картина: нежелание видеть истинное положение, самообман. Члены ВЦИК кушают осетрину и икру и не верят, что население голодает».

Я молчала. Было бесполезно доказывать, что люди за версту признали бы в нем коммуниста. Каждый раз, когда Эпштейн приезжал в Ясную Поляну, весь Щекинский район, каким-то чудом пронюхав о его приезде, готовился его встретить.

— Товарищ Эпштейн! Я вам честно и откровенно заявляю: больше не могу заведовать Опытно-Показательной станцией и Музеем-Усадьбой Ясной Поляны.

Эпштейн дружески улыбался:

— Нет, вы нам нужны, мы отпустить вас не можем.

«Как в плену»,— думала я.

Через несколько месяцев я снова пошла к Эпштейну.

— Разрешите мне, товарищ,— просила я,— поехать в экскурсию на три месяца в Японию. Я хочу познакомиться с их методами преподавания. Оттуда я хотела бы проехать в Америку. Вернусь и примусь за работу с новой энергией. Я устала, я чувствую, что мне нужен отдых.

— Почему же Япония?

— Но вы же не пустите меня в Европу. Слишком много эмигрантов в Европе, и мне трудно будет не ви-

деть родственников, друзей и знакомых. И даже если мне разрешат ехать в Европу и я никого не буду видеть,— ГПУ меня все равно обвинит, что я нахожусь в связи с эмиграцией. А в Японии русских очень мало.

Я никому не говорила о своем намерении уехать, но каким-то образом распространился об этом слух, и все спрашивали меня, вернусь ли я обратно.

Несколько месяцев я не получала никакого ответа.

— Ой, ой,— сказал мне председатель Губисполкома,— не верю я вам, гражданка Толстая. Не вернетесь вы обратно! Был бы я в Центре, никогда не пустил бы вас,— и он подозрительно и упорно ловил выражение моего лица.

— Неужели Ясная Поляна и все созданное мной здесь не является залогом того, что я вернусь? — спросила я, презирая себя в душе за ложь.

Теперь моей единственной целью, единственным желанием было уехать. Я не могла больше лгать. Работа в школе и Музее была мучительна. Разборка рукописей, переписка их и приведение в порядок были закончены. Издание первого 90-томного собрания сочинений Толстого перешло в руки Госиздата, и оно меня не интересовало. Кто мог купить это собрание сочинений, издаваемое в 1000 экземпляров, за 300 рублей? Комиссары? Богатые иностранцы? В народ это издание не проникнет, и простые рабочие люди не смогут читать Толстого как раньше, когда при старом правительстве сочинения Толстого распространялись в миллионах экземпляров.

Несколько раз ГПУ отказывало мне в выдаче иностранного паспорта. Прошло несколько месяцев. Я не теряла надежды и переписывалась с моими друзьями-японцами, посещавшими моего отца.

К концу лета 1929 года я получила телеграмму из Японии. Меня приглашали читать лекции в Токио, Оса-

ка и других больших городах. С этой телеграммой я пошла к Луначарскому.

— Если вы не пустите меня,— закончила я свой разговор,— мне придется послать телеграмму в Японию, что вы боитесь выпустить меня за границу.

Даже в то время, как я держала в руках ярко-красный с золотыми буквами советский паспорт с ужасающей своей физиономией на первой странице, мне не верилось, что я смогу уехать.

В Наркомпросе просмотрели конспект моих лекций, все мои рукописи, книги, письма, записные и адресные книжки. Все это было запечатано, ничего сверх этого брать не разрешили. Не разрешили говорить о школах в Советской России.

— А гитара? Зачем она вам?

— Я играю на гитаре и всегда вожу ее с собой.

— Красощекова, 1828 года, музейная редкость...

— Так я привезу ее назад, когда вернусь...

И гитару взять разрешили.

Каким-то образом по деревне распространился слух, что я уезжаю. Самые мои близкие крестьяне пришли попрощаться.

— Расскажи им,— просили они меня,— непременно расскажи, как мы здесь живем, как мучаемся. Может, помогут нам! Они, верно, там и не знают про нашу жизнь!

— Скажу, непременно скажу!

И я сдержала свое обещание. Я рассказывала всем, кому могла, и в Японии и в Америке про тяжелую жизнь русских людей в Советском Союзе. Но голос мой остался голосом вопиющего в пустыне.

— Но вы ведь уезжаете ненадолго, вы вернетесь?— спрашивали меня служащие.

— Конечно, вернусь.

— Будем вас ждать, Александра Львовна,— сказал

Илья Васильевич, подозрительно глядя на меня, и большие черные глаза его наполнились слезами.

— А вы берегите себя, Илья Васильевич. И смотрите, не болейте и не умирайте без меня...

Но старик безутешно рыдал...

Я уехала поздно ночью. Меня провожали только несколько человек из самых близких моих служащих. Все сели. Кто-то всхлипнул. Я не могла говорить, и изо всех сил удерживала рыдание и слезы, застилавшие глаза.

К крыльцу подали мою старую, истрепанную пролетку, запряженную парой лошадей. Одной из них был мой любимец Осман.

Мы проехали той же дорогой, минуя главный дом, по которой почти двадцать лет тому назад уехал навсегда из Ясной Поляны мой отец: мимо яблочного сада, по плотине мимо большого пруда, мимо школы, больницы...

На кого я все это оставляю? Вернусь ли я?

Нет, лучше не думать, не смотреть... Сломать все, чем жила... сразу.

Прощай, Ясная Поляна! Прощайте, мои любимые, близкие люди! Прощай, все, что было у меня дорогого и светлого! Прощай, Россия!

СОДЕРЖАНИЕ

Александра Львовна Толстая

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

Художественный редактор *Т. А. Хитрова*
Технический редактор *И. Н. Чиркова*
Корректор *Е. А. Платонова*

ИБ № 5209

Сдано в набор 10.09.90. Подписано в печать 26.03.91. Формат 70×108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 5,25. Усл. кр.-отт. 5,43. Уч.-изд. л. 5,10. Тираж 100 000 экз. Заказ № 248. Цена 3 р. Изд. № 1/е-407.

Издательство ЦК ДОСААФ СССР «Патриот».
129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Областная книжная типография.
320091, Днепропетровск, ул. Горького, 20.

3 р.

ПРОБЛЕСКИ ВО ТЬМЕ

Александра Львовна Толстая

Эпоха
Хроника
Образ